

Пьеса для расстроенного пианино

Мне ненавистны произведения, которые являются чистой выдумкой...

(Джордж Гордон Байрон)

Такси остановилось на улице Тиммерманс напротив дома номер 5. Из него выпорхнула юная девушка, ещё подросток, и, опередив водителя, широко распахнула заднюю дверцу автомобиля. Опёршись на услужливо подставленную руку, из него с трудом выбралась старуха и шаркающей походкой решительно направилась к двери многоквартирного дома. У самого входа она, тем не менее, остановилась, и, пошарив в кармане белого летнего пиджака, извлекла из него аккуратно сложенный лист бумаги с выведенными на нём несколькими строчками. В последний раз сверившись с написанным, она сунула бумажку обратно в карман и набрала несколько цифр на переговорном устройстве.

– Слушаю? – донёлся из динамика женский голос.

– Могу я говорить с мадам Леду? – произнесла старуха.

– Это я. Кто спрашивает?

– Меня зовут Рене Гальен. Мы договаривались с вами о встрече.

– Ах да, конечно, мадам Гальен. Будьте добры, потяните за ручку сильнее, дверь слегка заедает.

Дверь открылась, и обе женщины вошли внутрь.

– Простите за неудобства, здесь нет лифта, – оправдывалась мадам Леду, несколько обескураженная возрастом старшей из посетительниц. В одной руке она держала бутылочку с молочной смесью, а на другой – годовалого младенца. – Я думала, вы придёте одна, – мадам Леду покосилась в сторону молодой сопровождающей – темноволосой девушки в рваных джинсах, на шее которой весело подмигивали разноцветными огоньками огромные наушники.

– Моя внучка Софи, – поспешно представила юную особу мадам Гальен. – Если вы не против, она поприсутствует при нашем разговоре. Видите ли, в моём возрасте такого рода путешествия даются с трудом, и Софи любезно согласилась сопроводить меня. Ну, – она повернула добродушно улыбающееся лицо к сидящему на руках матери ребёнку, – а это, должно быть, малыш Этьенн?

– Так и есть, – со смешанным чувством приятного смущения и неловкости сообщила женщина. – Прошу вас, располагайтесь в гостиной. Я подам чай.

Оставив маленького Этьенна в манеже, мадам Леду скрылась на кухне.

– Ба? Это тот самый дом? – нетерпеливо зашептала Софи на ухо старухе.

– Будем надеяться. В любом случае начать придётся издалека. Все доказательства здесь, в этих стенах, – произнесла старуха, садясь в кресло. – И когда правда выплывет наружу, её нельзя будет игнорировать.

– А если нет? Если ты ошиблась?

– Слова не причинят вреда. Возможно, они даже вызовут любопытство.

– Но мы ведь здесь не за этим? Да, ба?

– Нет, конечно. Но если итогом этой беседы станет только любопытство, я ничего не буду иметь против.

Мадам Леду вернулась с подносом, на котором стоял маленький заварочный чайничек и три чашки.

– Помнится, вы писали, что хотели поговорить о моей бабушке, – произнесла она, усаживаясь напротив. – Честно говоря, даже не знаю, смогу ли вам помочь... Бабушка умерла полгода назад. Мы не были с нею близки. Последние несколько лет она практически не выходила из дома. Держала дюжину кошек, которых впоследствии с трудом удалось пристроить в приют. Нескольких самых старых мы с мужем оставили себе..., – она запнулась, не зная, что прибавить к сказанному. – До того, как я получила

ваше письмо, нам и в голову не могло прийти, что у бабушки есть знакомые во Франции...

– Видимо, я должна извиниться, – сухо произнесла старуха. – Я написала, что была близка с мадам Пизон, – она сделала паузу. – Это не так. Я солгала с одной-единственной целью – встретиться *с вами*. Согласитесь, вы с большим доверием отнеслись бы к особе, имеющей пусть и косвенное отношение к вашей ближайшей родственнице, чем к совершенно незнакомому человеку. Надеюсь, вы меня простите.

Мадам Леду удивлённо затрепетала ресницами.

– Нет, подождите. Мне показалось, вы упоминали в своём письме некоторые подробности, относящиеся непосредственно ко мне и моей семье...

Старуха согласно кивнула.

– Так и есть. И это тоже была своего рода уловка. Но отныне и впредь я не собираюсь вводить вас в заблуждение, потому что более всего на свете мне хочется заручиться вашим доверием. Я хочу, чтобы вы поверили мне так, как когда-то я поверила вам. Тогда это спасло мне жизнь.

– Простите, но мы никогда не встречались с вами прежде, – возразила мадам Леду. – Мне жаль, что вам пришлось зря проделать такое долгое путешествие, так как, скорее всего, я вам только напоминаю кого-то, кого вы знали раньше, – предположила она. – При этом я совершенно не исключаю, что вам может быть кое-что известно о моей семье. В современном мире получить любую информацию не так уж сложно...

– Вы думаете, что имеете дело с выжившей из ума старухой? – прямо спросила мадам Гальен и улыбнулась. – Быть может, вы и правы, и я действительно безумна. В конце концов, мне девяносто два года. Мало кому удаётся сохранить здравый рассудок в этом возрасте. Но если уж мы все встретились здесь, в этой самой комнате, я предпочла бы поговорить прежде, чем отправиться в богадельню.

Мадам Леду метнула взгляд в сторону детского манежа. Этьенн сидел на толстом матрасе и обсасывал пальцы.

– Прошу вас, выслушайте её, – вмешалась Софи.

– Мне кажется, я была с вами достаточно откровенной, чтобы заслужить несколько минут внимания, – развела руками мадам Гальен.

Поколебавшись несколько секунд, мадам Леду всё же кивнула.

– Хорошо, – сказала она. – Если вы настаиваете.

Взяв в руки чашку с горячим чаем, Софи удобнее устроилась в кресле, давая понять, что беседа может затянуться.

– Благодарю, – удовлетворённо произнесла старуха. – Я скажу то, что должна сказать. И если мои слова не найдут в вас никакого отклика, то мы немедленно уйдём. В любом случае прошу не судить нас строго.

– Я вас слушаю, мадам Гальен, – поторопила молодая женщина.

– Я расскажу вам одну историю, которая случилась много-много лет назад, в дни моей юности, – и она вальяжно откинулась на мягкую спинку кресла. – Признаться, я уже плохо помню, что было до войны. Со временем бывшее превращается в яркие размытые пятна – как будто смотришь в калейдоскоп, а они всё сменяют и сменяют друг друга, и тебе не на чем остановить глаз. Всё стало пёстрым и размазанным одновременно, будто я выросла в цветочной лавке, но это, конечно же, не так...

Мою мать звали Франсуаза Неель, а отца – Густав Гальен. Он работал конферансье в одном из парижских кафешантанов, развлекая публику между номерами игрой на фортепиано. Он был безусловно талантливым пианистом и неплохим сочинителем. Его музыка исполнялась на сцене и имела успех. Даже если я немного преувеличиваю, то это не меняет того факта, что я им безумно гордилась.

Мне было шестнадцать. Я обслуживала столики и, как и любая другая девушка на моём месте, каждый вечер оказывающаяся в кругу парижской богемы, мечтала петь. Стоит упомянуть, что я была совсем неплохо сложена, довольно пластична и имела приятный

тембр голоса. Я пела, не каждый вечер, разумеется, но пела. А днём репетировала с отцом. Он играл, а я разучивала новые песни. Пожалуй, это время было самым беззаботным в моей жизни. Оно предшествовало тому, когда мечты, которыми должен жить каждый человек, превратились в надежды – бледные призраки желаний.

14 июня 1940 года немецкие войска вошли в Париж, объявленный «открытым городом». Вам известно, что значит «открытый город», мадам Леду? Я покажусь вам вульгарной, если скажу, что это шлюха, лежащая на спине с раздвинутыми ногами, пока над возвышающейся над ней Эйфелевой башне реет немецкая свастика. Уже вечером того же дня немцы наводнили город. Они разъезжали в метро, прогуливались по улицам, приветливо улыбаясь прохожим. Ничего угрожающего. Ничего такого, что заставило бы нас подумать о сопротивлении. Никто из нас, парижан, не чувствовал острого неприятия. Мы продолжали заниматься обыденными делами – жизнь шла своим чередом. Разве что время от времени ощущали некоторую неловкость, словно к нам в дом заглянул непрошенный гость. Представьте себе, этот незнакомец сидит за вашим столом и наблюдает, как вы стряпаете или стираете. Вы стоите к нему спиной, стараетесь не замечать, но все ваши движения напряжены, потому что вы только и ждёте, когда он наконец встанет и уйдёт. В своём собственном доме вы чувствуете себя неловко в его присутствии.

Это касалось всех. Все испытывали нечто подобное. Те, кто прогуливались в Люксембургском саду или Пале-Рояль, кто выходил на рынок, чтобы купить свежего хлеба, засиживался в кафе, которых было в избытке на улицах и площадях. Все мы в собственном городе ощущали себя не в своей тарелке. Только и всего, если вы намерены мириться с подобным положением вещей.

В начале октября в парижских газетах опубликовали призыв ко всем евреям обратиться в комиссариат полиции для особой переписи. До этого момента мы никогда не задумывались о том, кто наши соседи – евреи они или нет. Нам было всё равно. В свои семнадцать лет я не могла просто посмотреть на человека и точно установить его происхождение. Наверное, немцы тоже не могли. Поэтому они решили сыграть на национальной гордости. Они собрали все списки членов еврейских общин и установили место проживания каждого из них. Но многие приходили добровольно, ошибочно полагая, что безоговорочное сотрудничество с немцами сможет спасти им жизнь. Помню, я пришла к своей матери и поинтересовалась у неё, не являюсь ли я еврейкой. Она обняла меня и сказала, что, слава Богу, нет. Тогда я расспросила о тех, кого хорошо знала, и кто был мне особенно дорог. Я называла имена, а мать отрицательно качала головой. После этого разговора я почувствовала внутреннее успокоение, словно все мы – моя семья и наши друзья – вдруг оказались в каком-то воображаемом бронированном отсеке, куда нет никому доступа. Но на поверку он оказался не прочнее мыльного пузыря...

Я была постоянно занята. Жила в каком-то бешеном темпе. Вставала в восемь утра, помогала матери со стиркой или глажкой, потом хватала ноты и бежала к мэтру Бое на урок вокала. Там я занималась от трёх до четырёх часов, затем шла в кафешантан и репетировала с отцом. Это и было всё моё «высшее образование». После окончания школы я подала документы в один из университетов в Бордо, но так и не получила ответа.

В четыре часа начинали собираться гости. К тому времени я успевала протереть столы, вымыть полы и переодеться. На мне были блузка в мелкий горошек, белый передник и полосатые носки. Волосы я собирала в пучок. У меня были прекрасные светлые кудри, не то, что сейчас.

Я обслуживала столики примерно до восьми вечера. К этому времени немецкие солдаты и их офицеры, которые по вечерам набивались в кафе, упивались как свиньи, и вели себя довольно развязно. Они всегда окружали себя красивыми женщинами в откровенных платьях и поднимали много шума. Наша форма официанток не была ни кричащей, ни кокетливой, скорее нелепой. Мы вели себя скромно, стараясь как можно меньше контактировать с гостями. Но иногда и нас приглашали посидеть в компании, от чего не

стоило отказываться по известным причинам. До нас доходили слухи, что в одном из столичных кафе девушке прострелили ногу только за то, что она оказалась не слишком любезна с посетителем. Поэтому ближе к восьми вечера отец отправлял меня на кухню помогать мадам Мартен, нашей посудомойке. Ни о каких выступлениях на сцене больше не могло быть и речи.

Мадам Мартен была дородной женщиной с сильными, красными руками. Всегда очень весёлая. Обычно мы коротали вечера вместе, и мне грех было жаловаться. Мы работали до поздней ночи, до последнего клиента, иногда до утра...

Однажды один из посетителей вышел из зала и пошёл прямо в кухню. Он был сильно пьян. Немцы всегда заказывали много выпивки. Чересчур много, как на мой взгляд. Этот шатался и держался за стены. Я стала как вкопанная возле умывальника. Я не знала, что делать и как себя вести. Его следовало выпроводить отсюда как можно скорее. Но не грубо. С клиентами так не поступают, с *особенными* клиентами... Мадам Мартен как раз спустилась в погреб, чтобы принести бутылку столового уксуса, так что в кухне оставались только я, месье Клобер – наш повар – и его помощник, месье Кассель, которые из-за шума воды и шкварчания масла на сковородках заметили немца слишком поздно. Все мы замерли на своих местах, соображая, как поступить. Никто из нас не знал немецкого, а клиент, по всей видимости, был слишком пьян, чтобы понимать по-французски. Но, как мне показалось, он ещё кое-что различал, так как, осмотревшись, двинулся прямо на меня. Его руки были широко расставлены, будто он собирался схватить меня, а на физиономии сияла широкая улыбка. Он был в форме и у него был пистолет – вот что я заметила. Он сделал несколько шагов мне навстречу и... свалился в погреб.

Снизу донесся необычайно громкий грохот, будто уронили мешок с картошкой, и испуганный возглас мадам Мартен. Один-единственный, только и всего. Сама она не показывалась. Месье Клобер и месье Кассель немедленно бросились к лестнице.

Месье Клобер встал на четвереньки и заглянул вниз.

– Мадам Мартен? – позвал он. Не крикнул, а именно позвал. – С вами всё в порядке?

Мадам Мартен поднялась по ступенькам, и её голова появилась на уровне пола.

– Со мной всё в порядке, – ответила она, – чего нельзя сказать о нём, – и она указала вниз. – Я так уж и быть подтолкну, месье, а вы тащите его наверх.

Она снова исчезла в темноте, и уже через минуту мужчины вместе втащили немца в кухню. Его голова болталась, как у тряпичной куклы. Когда его уложили на пол с вытянутыми вдоль тела руками, она повернулась на бок самым неестественным образом.

– Кажется, он сломал себе шею, – предположил господин Кассель.

Выбравшись из погреба, мадам Мартен растегнула немцу китель и приложила ухо к груди.

– Так и есть. Он мёртв, – заключила она. – Так мог поступить только немец. Приехать в чужую страну, есть, пить, не заплатить и умереть самой нелепой смертью!

Мы замерли, не представляя, что делать дальше. Мы смотрели друг на друга. Месье Кассель побледнел, мадам Мартен утирала со лба пот, а лицо месье Клобера вытянулось от испуга. Наверное, я тоже выглядела не лучшим образом. Никогда раньше я не видела мёртвецов так близко и не знала, что в моей жизни их ещё будет очень много!

– Если об этом узнают, нас всех сразу же расстреляют, – предположил месье Кассель.

– Не узнают, – после некоторой паузы, произнёс месье Клобер. – Запри-ка дверь, Рене, – обратился он ко мне, и я беспрекословно исполнила его просьбу. Вместе они спеленали труп, как младенца, в старую мешковину и водворили обратно в погреб. Против всех установленных для меня правил, я вышла в зал и позвала отца. Мы всё ему рассказали. Я видела, что он напуган не меньше нашего.

– Никому ни слова, – проговорил он и пошёл звонить директору, месье Жоанно.

Каждый день месье собственноручно открывал и закрывал кафе собственным ключом. У него здесь был личный кабинет, но в тот день он ушёл домой раньше. Этот случай нанёс сокрушительный удар по его репутации и мог так же стоить ему жизни.

Он отговорил нас принимать какие-либо поспешные меры и приехал тотчас же. Месье Жоанно потребовал, чтобы мы вели себя как обычно и как можно скорее вернулись к своим обязанностям. Затем он позвал моего отца, и они ненадолго заперлись в его кабинете. Уже тогда я догадалась, что они обсуждают, каким образом избавиться от трупа так, чтобы на нас не пало подозрение.

Посетители разошлись ближе к двум часам ночи, и директор попросил месье Касселя и месье Клобера вернуться домой и никому не рассказывать о случившемся. Меня и мадам Мартен тоже отпустили. Никто не задавал лишних вопросов. Остались только отец и месье Жоанно.

Я вернулась домой, можно сказать, как обычно. Из комнаты матери не доносилось ни звука. Я разделась и легла в холодную постель. Была середина января. Я дрожала от страха и никак не могла заснуть. Я думала о том, что со всеми нами будет, если кто-нибудь узнает о произошедшем этой ночью. Нас повесят, хотя никто из нас ни в чём не виноват. Но если бы мы честно признались в том, что на наших глазах немецкий офицер упал в погреб и свернул себе шею, они вряд ли простили бы нам сам факт того, что он был открыт.

На улице было совсем темно. В жёлтом свете уличных фонарей я наблюдала, как мечется снег. Во мне зрело напряжение, которое становилось всё сильнее с каждой минутой. Я всё время думала о том, когда же вернётся отец. Что его могло задержать? Моё воображение рисовало страшные картины: как отец с месье Жоанно пробираются сквозь метель с тяжёлой ношей на плечах, чтобы понадежнее спрятать труп. Полицейские жандармы свистят им в спины. Их останавливают и спрашивают, что в мешке. Наконец их просят развязать его и показать, что в нём спрятано...

Что дальше? Я запрещала своему воображению заглядывать так далеко в будущее, чтобы совсем не лишиться рассудка.

Отец вернулся только через несколько часов, совершенно пьяный.

– Мы сбросили тело с моста в Сену. Пусть думают, что он поскользнулся на снегу и свалился вниз, – сказал он и приложил палец к губам: – Тсссс!

Я довела его до кровати, помогла улечься и накрыла одеялом. Затем пошла на кухню и поставила чайник. Несчастный случай! Это было гениальное решение.

Всю следующую неделю мы были похожи на заговорщиков, членов какой-то подпольной партии. Встречаясь на кухне, мы обменивались многозначительными взглядами и молчали. Мне даже показалось, что со временем мы сможем забыть об этом инциденте, но не тут-то было. Ещё через неделю нас по одному стали вызывать в комиссариат для дачи показаний. Нас спрашивали о человеке по имени Ганс Шварцманн, и мы по очереди рассказывали, что никогда о нём не слышали. Это было чистой правдой. Мы знали имена только нескольких завсегдатаев заведения, и все они были парижанами. Нас вызывали несколько раз. Не представляю, каким образом мне удалось выдержать всё это и не расплакаться от страха. Я всё сделала правильно. Я держалась очень мужественно. Сохраняла невозмутимость. А как иначе?

Никто так никогда и не узнал, что случилось той ночью. Нам удалось скрыть правду. Смерть Ганса Шварцманна в конце концов признали несчастным случаем и оставили нас в покое. Но на меня вся эта история произвела неизгладимое впечатление. Каждую ночь мне снились кошмары. Наверное, до меня слишком поздно дошло, что никто из нас больше не в безопасности. Я не была ни еврейкой, ни коммунисткой, у меня не было никаких политических убеждений, как и никакой уверенности в будущем.

Аресты начались с середины 1941 года. Евреев и политических заключённых отправляли во временные лагеря где-то в окрестностях Парижа. Я не знала, где именно, но мне говорили, что туда можно отправлять посылки с едой и тёплой одеждой. Наверное,

это было что-то наподобие тюрьмы. Спустя ещё год людей стали в поездах переправлять на принудительные работы в Польшу и Германию. Тех, кто оказывал сопротивление, расстреливали на месте. Так поступали вплоть до капитуляции немецких войск в сорок четвёртом. Но до этого было ещё очень далеко. Когда живёшь в постоянном страхе, время течёт медленно. Ты стараешься заполнить пустоту, но ничего не выходит. Страх за собственную жизнь изолирует человека от общества, делает его эгоистом, к тому же совершенно бесполезным...

Раз в год мы настраивали пианино. Этим занимался месье Роббер за весьма скромную плату. Сунув в карман несколько франков, чтобы оплатить аванс, я села на велосипед и довольно скоро доехала до улицы Розье. Мне никогда не нравились тамошние старые дома с облупившейся краской на стенах, завешанные многочисленными плакатами, сильно пахнущими типографской краской. На них вечно писали какую-то чушь про большевицкую заразу, поразившую всю Европу, или что-то вроде того.

Я поднялась на второй этаж и позвонила в звонок. Мне показалось, что он не сработал, и я постучала в дверь, зная, что меня обязательно услышат. Я ждала, но на мой стук так никто и не откликнулся. Тогда я повторила попытку несколько раз. Дверь открылась. Но эта была совсем другая дверь – как раз за моей спиной. Из-за неё выглянула мадемуазель Трюдюфф, соседка месье Роббера, и поманила меня пальцем. Это показалось мне странным, так как мы были почти незнакомы. Мадемуазель Трюдюфф впустила меня в свою квартиру и быстро заперла дверь.

– Вы ищите месье Рббера? – спросила она, и я подтвердила, что так и есть. – Вы не найдёте его здесь. Неделию назад ночью за ним пришли двое полицейских жандармов. Не немцы, французы. Они попросили его взять вещи и документы и следовать за ними. Я собственными глазами видела из окна, как его и ещё нескольких жильцов вывели на улицу и посадили в автобус.

– Его отпустят? – спросила я.

Мадемуазель Трюдюфф, в домашнем халате и с папильотками в волосах, громко хмыкнула.

– Не думаю. Я слышала, их всех везут на поселение в какой-то маленький городок или даже деревушку на юге Польши. Кажется, в Аушвиц.

– Их повесят?

– Нет-нет. Немцам нужны рабочие руки. Думаю, туда сошлют всех евреев.

Не скажу, что я слышала об этом впервые. Об Аушвице говорили как о какой-то тюрьме. Многие не верили, что там происходят убийства. Не хотели верить, что где-то совершается зло, не постижимое ни разумом, ни чувствами. Каждый раз, выходя на улицу, мы видели неспешно прогуливающих людей, молодых матерей с детскими колясками, элегантно одетых мужчин, спешащих по своим делам, тележки с цветами и прочие несущественные вещи и старались не замечать очевидное – развевающиеся на ветру немецкие флаги, людей в военной форме, проходящих мимо нас маршем, указатели улиц на немецком языке, словно были не французами, а всего лишь каким-то немецким придатком. Мы затыкали себе уши, едва заслышав выстрелы в подворотне, и скорее бежали прочь от этого места. Никто не возмущался. Большинство из страха, другие из солидарности.

Я вернулась к отцу и рассказала ему всё, как есть. Я попыталась вытащить из кармана деньги, которые он мне дал, но в кармане оказалась дыра, и они завалились за подкладку. Я никак не могла их оттуда достать. Даже не сразу поняла, что это из-за того, что мои пальцы онемели и плохо слушались.

Мы лишились господина Роббера. Каждый раз, когда отец усаживался за пианино, из него вылетали пугающие дребезжащие звуки. Это случалось всегда неожиданно. Они резали слух. Несколько клавиш второй и третьей октавы не работали – требовалось заменить струны. Месье Жоанно попросил найти другого настройщика, но беда в том, что почти все они были евреями. Мы дали объявление в газету, а пока отец продолжал играть

на расстроенном инструменте, умудряясь сочинять небольшие пьесы с учётом того, на какие клавиши не следовало нажимать. Я же каждую ночь просыпалась от того, что мне чудилось, что кто-то стучит в дверь, – сложив руки, старуха замолчала.

Мадам Леду передвинулась в угол дивана и поджала под себя ноги.

– И они пришли? Они арестовали вас? – спросила она.

– Нет, – покачала головой мадам Гальен. – Меня не за что было арестовывать. Всё вышло случайно. В ноябре сорок третьего я, как всегда поздно, возвращалась домой, хотя меня отпустили раньше обычного. Посетителей в тот день было немного, и мадам Мартен сказала, что закончит сама. В это время улицы обыкновенно пустовали. На них не было ни машин, ни пешеходов. Представьте моё удивление, когда одна из них почти полностью оказалась перекрыта двумя большими автобусами. Вокруг них толпились люди. Они постепенно выстраивались в две очереди и продвигались к входам. В руках у них были чемоданы и огромные кули, словно они намеревались совершить кругосветное путешествие. У некоторых вообще ничего не было, будто они никуда и не собирались уезжать. Это выглядело довольно странно.

Я жила всего в двух кварталах от того места, и поэтому не стала переживать, когда все они займут свои места в автобусах. К тому же там были и солдаты СС, следившие за порядком.

Я стала протискиваться сквозь толпу. Наверное, я нечаянно зацепила какую-то даму, хотя мне казалось, что двигалась я очень аккуратно. Она выронила чемодан, и он упал на землю. От удара замок раскрылся, и всё содержимое вывалилось наружу. У меня под ногами оказался целый ворох вещей – свитера вперемешку с панталонами, несколько пар перчаток, платки и шарфы, зубная щётка – всё, что мне удалось рассмотреть.

– Простите, – мне стало ужасно неудобно. – Я вам помогу. – И я стала собирать всё это с земли и запихивать обратно в чемодан. Через минуту мне стало ясно, что из этого туда не могла поместиться и половина.

Вокруг поднялся шум. Женщина разозлилась. Она выкрикнула: «Да что ты возишься!», сунула мне в руки какую-то бумажку, затем оттолкнула и стала копошиться в собственном белье, кое-что засовывая в чемодан, а кое-что отшвыривая вон. Я стояла, как вкопанная. Мне было ужасно стыдно. Моё лицо стало пунцовым от прилившей к нему крови. На нас все тарасились. Мы привлекали к себе слишком много внимания. Несколько немецких солдат подошли ближе, чтобы узнать, что случилось:

– Это ваш чемодан? – спросили они у меня.

– Нет, не мой, – ответила я.

– Ваши документы, – потребовали они.

– Простите, но у меня нет с собой документов.

– Предъявите документы немедленно! – рявкнул один из них и вырвал из моих рук бумажку. – Кароль Бернштейн. Вы – Кароль Бернштейн?

– Нет, это не я! – выкрикнула я. – Это не мои документы!

– Садитесь в автобус, мадам Бернштейн. Он скоро отправится.

– Но я – не мадам Бернштейн! Здесь была женщина. Это её документы!

Я огляделась по сторонам, но владелицы документов нигде не было видно. Передо мною лежал раскрытый, наполовину собранный чемодан.

– Это ошибка! Скажите им, что они совершают ошибку! – обратилась я к присутствующим. – Вы же видели, как всё было!

Со всех сторон на меня смотрели хмурые люди, но никто из них и рта не раскрыл. Я думала: как же так? Они ведь всё видели! Так почему же молчат?

– Станьте в очередь, мадам Бернштейн. Мы скоро отправляемся, – и меня грубо толкнули в тесный поток.

– Мадам Бернштейн! – я крутилась, как волчок, на одном месте. – Мадам Бернштейн!

Я встала на цыпочки, несколько раз подпрыгнула, но так и не смогла разглядеть той женщины. Она словно растворилась. Я попыталась высунуться из очереди, но меня снова

затолкали обратно. Чемодан так и остался лежать на дороге, когда меня запихнули в автобус. Это было неумолимое течение, которое должно было вынести меня за околицу Парижа, к распределительному пункту, где, как я была абсолютно уверена, мне удастся доказать свою идентичность. Мне вернули скомканную бумажку, и я сунула её под пальто. По ней выходило, что мне около пятидесяти трёх лет, что никак не соответствовало моему внешнему виду, и было гарантией того, что меня немедленно освободят, как только истина будет установлена.

Но моим ожиданиям так и не суждено было сбыться. Вместо распределительного пункта нас всех привезли прямо на вокзал и стали грузить в поезда. *На полу в вагоне было немного соломы. Там было темно, холодно и очень враждебно. И почти не было места, чтобы сесть. Многие плакали. И там было много детей. Мы оказались в ловушке. Двери были заперты¹.* Это были какие-то загонны для скота с маленькими окнами почти под крышей. Они считали нас скотом, и мы вели себя, как скот. Не лучше. Беспрекословно подчинялись приказам. Я часто потом думала, что было бы, если бы мы оказали немцам отчаянное сопротивление? Большинство из нас перестреляли бы прямо на платформе. Чем такая смерть отличается от смерти в газовой камере? Или повешенья? Наверное, ничем. В любом случае нас ждала гибель. Так почему же мы не боролись за собственные жизни?! Очевидно, всё дело было в том, что никто из нас толком не знал, что нас ждёт. Все мы в глубине души надеялись, что всё ещё может обойтись. Зачем рисковать и получить пулю, когда, возможно, нас вот-вот отпустят, сочтя непригодными к работе в трудовом лагере?

Мы все были до крайности наивными. Гораздо позже, уже после окончания войны я узнала, что из ста пятидесяти тысяч взрослых французов, вывезенных в Аушвиц-Биркенау, в живых остались только три тысячи, а из двадцати тысяч детей выжило только шестеро. Странно... У нас были руки и головы, мы могли царапаться и кусаться, но мы этого не сделали. Возможно ли, что смертей было бы больше?

Мы прибыли в Аушвиц посреди ночи. Все было устроено так, чтобы до смерти запугать нас: ослепляющие прожектора, лай эсэсовских собак, одетые как каторжники заключенные, которые вытаскивали нас из вагонов². От долгого стояния на ногах у меня затекли ноги. Я шла медленно – так им казалось – и меня постоянно подгоняли. Толкали и толкали вперёд. Я несколько раз оглянулась назад – за нами были огромные ворота, а на них какая-то надпись. Я не читала по-немецки и не могла понять, что там написано. К тому же, надпись была зеркальной. Помню, мне пришла в голову мысль о том, что все мы вдруг оказались по ту сторону зеркала и отныне теперь всё будет не так, как мы привыкли. И совсем не так, как ожидали. Целый мир просто вывернуло наизнанку, и привычные человеческие ценности утратили свой смысл. Видит Бог, я была не так далека от правды.

Мы подошли к огромному кирпичному зданию. Нас затолкали в это здание, где уже были заключенные, и эсэсовцы отдавали нам приказы. Там были столы, длинные столы. В первом помещении нам приказали раздеться. На стенах были крючки. Надо было надеть одежду на кусок проволоки..., потом снять обувь и поставить её на пол³. Мне совсем не хотелось снимать пальто. В помещении было холодно, мы все замёрзли, особенно дети. Но делать было нечего. Нам сказали, что всю нашу одежду отправят на дезинфекцию и оставаться в ней нельзя. Поэтому мы все разделись. Донага. На нас ничего не осталось. А потом у нас собрали и документы.

В помещение зашло ещё несколько надзирателей в форме, среди них были и женщины, и мужчины. В основном мужчины. Они *ходили вокруг, смеялись и глазели на нас... только представьте себе молодую девушку в таком возрасте, которая еще никогда не*

¹ Из воспоминаний Сюзан Поллак, бывшей заключённой Освенцима.

² Из воспоминаний Симоны Вайль, бывшей заключённой Освенцима.

³ Из воспоминаний Михаэля Вогеля, бывшего заключённого Освенцима.

раздевалась на глазах у кого-то, на глазах у мужчины, и которая должна была стоять там совсем голой... мне хотелось провалиться сквозь землю⁴.

Затем они поделили нас на несколько групп. Сначала я никак не могла понять, по какому принципу, но оказавшись в одной из них, наконец поняла: в первую группу попали те, у кого была короткая стрижка, во вторую – с волосами чуть ниже плеч, а в третью – длинноволосые. Я уже говорила, что у меня были шикарные волосы. Не такие длинные, как требовалось, чтобы попасть в третью группу, но это было и не очень-то важно. Меня всё равно остригли бы, как и всех прочих заключённых. Тут исключений не делалось. Как мы позже узнали, отрезанные волосы сортировали по длине в зависимости от их целевого назначения. Далее их отправляли на фабрики, где из них ткали полотно, плели сетки или набивали мягкую мебель. После освобождения Аушвица на его уцелевших складах нашли около семи тысяч килограмм волос, зашитых в мешки и готовых к отправке. Но тогда, конечно, мы ничего такого не подозревали. Нас ожидали несколько десятков парикмахеров – таких же узников, как и мы сами. *Они не только обрили нам головы, но и сбрили волосы со всего тела. Они говорили, что это необходимо для поддержания гигиены⁵.* Я думала, как всё это объясню родителям, когда правда прояснится. Я не смогу петь на сцене, никто не захочет смотреть на такую уродину. Мне придётся провести несколько лет на кухне посудомойкой, помогая мадам Мартен, пока волосы не отрастут. Эта была настоящая трагедия, – мадам Гальен тихо рассмеялась. – Потом нас всех погнали в душевую, где вода лилась прямо с потолка. Нас облили ею, выдали какие-то лохмотья вместо одежды, платок на голову и пустили дальше, в следующее помещение, где стоял ещё один длинный стол. Там *наносили татуировки с номерами. Татуировку наносили на левое предплечье. Один человек протирал заключенному участок кожи на предплечье небольшим смоченным в спирте грязным куском ткани, а другой наносил номер иглой и чернилами⁶.*

Все стояли и молча ждали своей очереди. Нас долго не кормили, не давали воды. Я снова подумала о детях и с удивлением заметила, что они куда-то пропали. Все до единого. Ни детей, ни стариков. А ведь я так и не заметила, как нас разделили.

– Где все остальные? – спросила я у женщины, стоящей передо мной. Вместо ответа она посмотрела на меня, как на умалишённую. Мне сделали замечание, и я умолкла. Но когда подошла к столу, больше не намеревалась молчать.

– Моё имя – Рене Гальен. Я не еврейка и не политзаключённая. Меня привезли сюда по ошибке. Вы должны меня отпустить.

Несколько человек за моей спиной рассмеялись, будто я рассказала шутку.

– С кем я могу поговорить? Меня зовут Рене Гальен!

Я чуть не плакала. А, может, и плакала. Уже не помню. Я говорила, а они смеялись.

– Теперь это всё равно. С этого момента у тебя не будет имени, только номер, – говорили они. – Подставляй руку или схлопочешь пулю.

– Дай им руку, – шипели мне в спину. – Или нас накажут. Всех из-за тебя одной! Отправят в газовую камеру.

Они так напирали! А я чувствовала стыд. Даже не страх, а стыд. Если бы мне в придачу к драному халату дали шнурок, я бы удавилась со стыда. Глупенькая!..

После войны многие выжившие пытались свести татуировки, но не я. Моя по-прежнему со мной. Это память, какая ни есть. Пример того, как легко человек может потерять собственную индивидуальность.

Они сказали: «С этой минуты вы не должны отзываться на свое имя. Отныне вашим именем будет ваш номер». И я была совершенно сбита этим с толку, подавлена, упала духом; я почувствовала себя так, словно я больше не человек⁷.

⁴ Из воспоминаний Лили Аппельбаум Малник, бывшей заключённой Освенцима.

⁵ Из воспоминаний Михаэля Вогеля, бывшего заключённого Освенцима.

⁶ Из воспоминаний Михаэля Вогеля, бывшего заключённого Освенцима.

⁷ Из воспоминаний Лили Аппельбаум Малник, бывшей заключённой Освенцима.

Меня подташнивало от голода, я еле переставляла ноги от усталости и не знала, чего бы желала сейчас больше – поесть или отдохнуть в каком-нибудь тёплом месте. Мне казалось, что в любой момент я могу умереть сразу от трёх причин – голода, холода и усталости. Но нас снова вывели на улицу и построили в одну шеренгу. Какой-то высокий офицер в эсэсовской форме с обожженным лицом объявил, что ему нужно отобрать десять девушек не моложе семнадцати и не старше тридцати лет для лёгкой работы. Он проходил мимо и осматривал нас, хотя, как на мой взгляд, мы все к тому времени выглядели одинаково хмурыми и уставшими. Он тыкал на некоторых пальцем, и они делали шаг вперёд. Одни оставались стоять, а других возвращали в строй и выбирали кого-то ещё. Никто не вызывался сам и не проявлял никакой инициативы. Здесь всё зависело не от нас. Когда немец оказался так далеко, что не мог меня слышать, я спросила у рядом стоящих, что это за лёгкая работа.

– Они набирают девушек в бордель. Хочешь?

Я в ужасе помотала головой.

Проходя мимо в очередной раз, офицер ткнул в меня пальцем, затем всмотрелся в моё лицо и подозвал надсмотрщицу. Они заговорили о чём-то по-немецки, почти не глядя в мою сторону, записали мой номер и вернули обратно в строй. Я так и не узнала, выбрали меня или нет.

– Меня выбрали? – спросила я, когда нас погнали к баракам.

– Нет, – ответила одна из женщин, точно такая же заключённая. – Слышала, те, кого выбрали, получают отдельную комнату, хорошую еду и нормальную одежду. Раз ты всё ещё с нами, значит, поблажек не жди.

Мне показалось, что она говорит с акцентом, хотя это могла быть и своеобразная манера выговаривать слова.

– Ты хотела бы оказаться на их месте? – спросила она.

– Ещё чего! Лучше сдохнуть.

– Когда нас отпустят?

Она рассмеялась.

– Отсюда только один выход. Видишь трубу над тем зданием? – и она указала на чёрную высокую трубу, из которой валил густой дым. – Это крематорий. Все мы выйдем через него рано или поздно.

– А если попытаться сбежать?

– В лучшем случае тебя расстреляют. В худшем – накажут. Женщин здесь наказывают особым образом.

– Откуда ты всё это знаешь?

– Просто знаю, – скупой улыбнулась она.

– Ты француженка?

– Нет. Бельгийка. Подожди, сейчас нас поселят.

Она оказалась права. Нас поселили в 13-й барак. *Примерно 800 человек. Барак был очень длинный... Там было шумно, все что-то рассказывали, кто-то плакал навзрыд⁸. Внутри... с обеих сторон возвышались трехэтажные нары, на которых размещались на грязных соломенных матрасах по три или по четыре женщины. Солома давно стерлась в пыль, и они лежали на почти голых не струганных досках, к тому же с сучками, впивавшимися в тело.⁹*

Бельгийку звали Фриде Нордам. Вам что-нибудь говорит это имя?

Мадам Леду отрицательно покачала головой. Сидящая рядом Софи с укором воззрилась на старуху.

– Это ещё ничего не значит, – равнодушно пожала плечами та. – Абсолютно ничего не значит. – И продолжала: – Мы разместились вместе, так сказать, по знакомству. Смешно:

⁸ Из воспоминаний Барбары Кадиной - Фридман, бывшей заключённой Освенцима.

⁹ Из воспоминаний Станиславы Лещинской, бывшей заключённой Освенцима.

я не знала её, а она меня, но мы заговорили. Часто и этого бывает достаточно, чтобы свести знакомство. Она была примерно моего возраста. Может, старше на два-три года, я никогда не спрашивала её о возрасте. Это не имело значения, тем более что все мы выглядели почти одинаково – оборванки с деревянными колодками на ногах, которые стирали ступни в кровь и в которых практически невозможно было ходить. Я долго к ним привыкала, это чистая правда. Как и к скудной пище. Нас не кормили ни в поезде, ни по прибытию в концлагерь. К исходу дня многие валялись в голодные обмороки. Дальше – не лучше. Другие заключённые служили нам наглядным примером того, во что мы превратимся уже через месяц – живые трупы, марширующие по улицам. Кожа да кости. Идя в такой колонне живых мертвецов, которые еле-еле волочат ноги, я вспоминала четырнадцатое июня – день, когда немецкие войска прошли маршем по улицам Парижа. Контраст был невероятным. Они несли высоко поднятые над головой штандарты, а над нашими ветер гонял клубы чёрного дыма. *Трубы было видно от... ох, их было видно отовсюду, где бы мы ни были, и, конечно, мы слышали запах... сперва запах газа, когда он выходил... когда его выпускали из газовых камер, а потом, потом мы слышали запах горящих тел, горячей человеческой плоти. А потом они чистили решетки печей, и мы слышали этот скрип... это тот самый звук, который раздается, когда вы достаете противень из своей духовки, только гораздо... это было гораздо громче, так что мы все время слышали его, даже из барак*¹⁰.

Здесь всё было по-другому. Всё вывернуто наизнанку, как я и говорила. Это нас укладывали на те решётки, и это мы служили пищей огню, тогда как большинство из нас умирали даже не от болезней, а просто от голода. Всё, что нам давали – это суп из какой-то травы. Может быть, это был шпинат, может, крапива, или всё вперемешку. Иногда кормили варёной брюквой, но редко. Я слышала, в мужских бараках брюкву давали чаще. Давали хлеб – крохотные порции. Не знаю, из чего они его делали, но *на зубах скрипели обрывки соломы, и его едва можно было прожевать, но нам приходилось есть его, чтобы не умереть с голода*¹¹. Он служил местной валютой. Его можно было поменять на какую-нибудь нужную вещь – тёплые чулки или платок. Если кто-то умирал – его раздевали догола. Это не считалось мародёрством. Особенно среди евреев. У них есть поверье: голым пришёл на эту землю, голым и уходишь. Что-то в этом роде. Поэтому они просто стаскивали с трупа одежду и скорее надевали на себя. Если немцы с ней ловили – то били палками. Это было скорее для проформы, чем для наказания за воровство. Раздетые же трупы выносили утром и считали. Их всегда было много. Я и представить себе раньше не могла, что могу провести ночь в одном помещении с трупом, да ещё и не с одним. Но человек меняется, как и его привычки. Тогда я думала так: какая разница? Главное, что живых пока больше. *Проход был достаточно большой. В проходе пол был выстлан камнем, ну такие, знаете, тесанные камни... Они брали мертвеца за ноги и стаскивали на землю. При этом, голова разбивалась о камни, и они тащили их, а мозги так все и растекались по этим камням*¹².

*Мы получали паек по утрам. Нужно было вставать около четырех утра, выходить из барак*¹³*ов и строиться. Это называлось "апель", перекличка. Они считали нас каждое утро, и если кого-то не доставало, то мы должны были стоять там — не важно, на морозе или под дождем, — пока этот человек не найдется. Потому что иногда бывало так, что кто-то умирал за ночь и уже не выходил из барака... Мы не могли отправиться на работу, пока всех не пересчитают*¹³.

Работа была сложной. Мы копали рвы за оградой лагеря. В сорок четвёртом в них сжигали трупы. Но тогда, осенью сорок третьего, земля была или твёрдой, или превращалась в сплошную жижу под ногами. И нас заставляли копать. Кто-то работал

¹⁰ Из воспоминаний Рут Мейеровиц, бывшей заключённой Освенцима.

¹¹ Из воспоминаний Сэма Шпигеля, бывшего заключённого Освенцима.

¹² Из воспоминаний Зимницкой Ольги Тимофеевны, бывшей заключённой Освенцима.

¹³ Из воспоминаний Сэма Шпигеля, бывшего заключённого Освенцима.

лопатой, а кто-то носил вёдра с землёй и песком. Как сейчас помню, они были ужасно тяжёлыми. Я думала, у меня оторвутся руки или пальцы раскрошатся от холода. Но копать было не легче. Если кто-то останавливался передохнуть – спускали собак. Огромных и злых. Их специально натаскивали на людей. Если нёс неполное ведро – били. Если спотыкался и опрокидывал его – могли расстрелять на месте. Такую работу даже самый крепкий человек не выдержит, не то, что мы – обессиленные от голода, полумёртвые женщины. Я ещё тогда думала – что будет зимой, когда земля замёрзнет и выпадет снег? Нас тоже станут заставлять копать?

*Когда мы выходили, у ворот играла музыка, и ночью, когда мы возвращались, она снова играла*¹⁴. Каждый день я видела надпись на немецком над нашими головами. Фриде объяснила мне, что она значит: «Труд освобождает».

– Ты читаешь по-немецки? – спросила я.

– Нет.

– Откуда же знаешь?

– Здесь все это знают. Как и то, что это правда только отчасти. Мы будем работать, пока не умрём. А когда это случится, немецкие фермеры удобряют свои поля нашим пеплом. Теперь и ты знаешь.

После работы нас снова загоняли по баракам. Раз в неделю случалась проверка. Приходил врач – тоже из заключённых, осматривал нас и самых безнадежных отправлял в газовую камеру. Тех, кто не мог работать и был бесполезным. Но некоторых всё же отправляли в лазарет. По какому принципу их выбирали – не знаю. Многие заболели тифом уже в первые дни пребывания в Аушвице и умирали. Думаю, это всё от плохой пищи и ослабленного иммунитета, от того, что мы постоянно голодали. Заболевших отделяли от здоровых – насколько это было своевременно и возможно, и отправляли на быструю смерть.

Газовая камера — это было помещение... с двумя трубами, ... вроде дымоходов... Эти трубы поднимались вверх и выходили на крышу, которая снаружи была почти вровень с землей. Там, наверху, стояли эсесовцы, и когда бункер заполнялся... да, подождите минуту... Сначала они запускали туда всех женщин, а потом уже мужчин. Иногда оставалось 20 или 30 человек лишних, которые туда не помещались, так что детей они всегда оставляли на потом. И когда бункер уже заполнялся настолько, что больше людей уже не помещалось ... они пускали детей ползти прямо по головам, просто заталкивали их внутрь, чтобы уместить всех. И тогда за ними захлопывалась дверь, толстая дверь...

*Те люди... эсесовцы ждали снаружи, там был фургон с эмблемой Красного Креста, и были банки... банки с газом в грузовике... в санитарном фургоне. Эсесовец надевал противогаз... он должен был надеть противогаз, потом срывал крышку с канистры с газом и запускал его в отверстие, в трубу, по которой газ попадал внутрь... Это занимало от пяти до десяти минут. В двери камеры было небольшое смотровое отверстие, застекленное, там было четыре или пять слоев стекла, и оно было забрано решеткой, чтобы стекло никто не мог выбить. И когда они включали свет... в бункере, можно было увидеть, умерли уже люди или еще нет.*¹⁵ Так и было, мадам Леду, я не преувеличиваю. Как и говорила Фриде, мы должны были работать, а потом умереть в том месте, только так было возможно вырваться из Аушвица. Другого пути не было.

Как-то ночью я проснулась от какого-то странного звука. Он был похож на автоматную стрекотню. Тра-та-та-та-та. Или что-то вроде того. Но это были не автоматы. Я осторожно повернулась в сторону Фриде – это стучали её зубы. Вот так: тра-та-та-та-та. Я подумала, что она замёрзла (в бараке всегда было холодно), поэтому придвинулась к ней ближе и обняла как можно крепче. Мне подумалось, если мы будем лежать вот так близко,

¹⁴ Из воспоминаний Сэма Шпигеля, бывшего заключённого Освенцима.

¹⁵ Из воспоминаний Сэма Ицковича, бывшего заключённого Освенцима.

прижавшись друг к другу, то сможем немного согреться. Хотя, должна признать, что та ночь выдалась не самой холодной.

Фриде лежала с широко открытыми глазами и глядела в потолок.

– Что случилось? – спросила я.

– Мне страшно, – ответила она, и я поняла, что дрожь её бьёт вовсе не от холода. Это показалось мне не особенно странным. Здесь все мы жили в постоянном страхе, но в отличие от меня, Фриде казалась более стойкой. Не то, чтобы она отличалась каким-то особенным умом, но она была куда более осведомлённой о многих вещах, чем любая из нас. У меня даже складывалось впечатление, что она провела в этом месте многие, многие месяцы, хорошо изучив здешние порядки. Каким-то непостижимым образом ей всегда удавалось обходить острые углы, тогда как все остальные постоянно терпели побои – за то, что шли не в ногу, за то, что приходили последними на построение, за то, что переговаривались – за всё, что здесь было запрещено. Ей постоянно везло, и вот она сломалась. Я была куда менее стойкой. В тот момент я даже подумала, что если это случилось с нею так скоро, сколько протяну я сама? А затем она спросила меня:

– Где я?

Спросила так, словно оказалась тут впервые. Наверное, это было какое-то помутнение сознания, иначе, зачем бы она меня спрашивала?

Я ответила:

– В бараке.

– Что это за место? – снова спросила она, продолжая клацать зубами.

– Худшее на земле, – ответила я.

– Почему здесь так холодно?

– Наверное, потому, что зима.

Она медленно повернула ко мне голову и всмотрелась в моё лицо. Не знаю, что можно было разобрать в такой темноте, но мне показалось, что она совершенно не узнаёт меня.

– Пожалуйста, пожалуйста, – взмолилась она, – пусть всё это прекратится!

Мой локоть был подложен под голову, и я почувствовала, как на него стали падать слёзы. В таком холоде они были обжигающе горячими. Я обняла её ещё крепче, и она прижалась ко мне, как ребёнок. Мы так и замерли в этой позе, пролежав в ней до самого утра.

Утро следующего дня началось как обычно. Фриде и словом не обмолвилась о том, что было ночью. Она вела себя как всегда. Я подумала, что, чтобы оставаться сильной, нужно иногда себе позволять маленькие слабости. Это нужно, чтобы окончательно не рехнуться. Одному Богу известно, как близко все мы были к помешательству, и как часто многие из нас переступали эту грань, совершая самоубийственные поступки.

Признаться, тогда я не придавала этому происшествию особого значения. Если бы вы знали, мадам Леду, в каком аду мы жили, вы бы меня поняли.

Выпал первый снег, и нас перестали заставлять копать землю. С этих пор мы шили одежду для заключённых в специальных цехах. Целый день. Эти самые полосатые робы и бесформенные халаты из какого-то выкрашенного старья. Мне раньше никогда не доводилось шить, тем более, строчить на машинке. Они постоянно заедали. А нитки запутывались и рвались. Но Фриде показала мне, как это делается, и я быстро научилась. Потому что это было лучше, чем копать или носить камни. Это было намного легче, и все мы надеялись, что на этой работе нас продержат подольше – хотя бы до конца зимы. Но чтоб остаться, мы должны были выполнить план – сколько-то там халатов в день. За этим строго следили. Если вещь расползалась в руках – нас наказывали – выгоняли на мороз и оставляли там стоять неподвижно несколько часов к ряду. От такого стояния пальцы на ногах и руках чернели и отваливались, и люди часто умирали от заражения. Позже мне доводилось слышать, что форму для офицеров СС шили заключённые в концлагере «Бухенвальд». Это была куда более ответственная работа, и если ты не справлялся, то расстреливали сразу.

Однажды в середине рабочего дня ко мне подошла надзирательница – *капо* – и приказала встать. Я ужасно испугалась, и вместо того, чтобы промолчать, стала что-то объяснять и тыкать ей под нос сделанную работу. Но она только посмеялась надо мною и приказала идти за ней. Такого раньше никогда не случалось, и я чувствовала, что вот-вот лишусь чувств. Меня вывели на улицу, я обхватила руками плечи, чтобы не замёрзнуть. Меня могли ударить за это в любой момент, но вместо этого капо швырнула мне кофту.

– На, надень.

Она была немкой, но немного говорила по-французски. Такие здесь иногда попадались. «Образованные». Вообще-то, они тоже были заключёнными, но вместо того, чтобы отбывать срок там, в Германии, им предлагали работать здесь на гораздо лучших условиях. Они присматривали за нами. Большинство из них были откровенными садистками. Им доставляло удовольствие самоутверждаться за наш счёт.

Эта отвела меня в какое-то помещение вроде больницы, в котором я никогда не бывала раньше. Меня заставили раздеться и *пройти медицинское обследование, и это было... даже слово "стыдно" тут не подходит, потому что в людях, которые его проводили, не было ничего человеческого. Они были хуже, чем животные... Такого гинекологического кресла, как там, я не видела никогда в жизни. Каждая минута там была унижением.*¹⁶ Потом была душевая – минуты две, не больше, мне позволили постоять под куском трубы, из которого текла горячая вода. Мне стало так хорошо, что я подумала, что вот-вот потеряю сознание. За это время я умудрилась обжечь спину, после чего мне намазали голову какой-то вонючей дрянью от вшей, и снова послали в душ. Они делали так раза три. И каждый раз меня осматривал врач. Кажется, моё физическое состояние его удовлетворило, так как мне позволили снова одеться, но дали совсем другую одежду. Это было ещё не сношенное синее кашемировое платье, выглядевшее, как новое. А ещё нижнее бельё и чулки. На груди было едва заметное пятно – крохотное пятнышко от губной помады. Такие остаются, когда платье быстро стягивают через голову. Как по команде. Тогда его легко испачкать по неосторожности.

Это была конфискованная одежда. Её снимали со всех, кого привозили в лагерь, потом отсылали на сортировку, а потом... мне рассказывали... отправляли в Германию, малоимущим семьям. Я вот до сих пор думаю, каково им было её носить? Этим немцам? Они натягивали её на себя, словно чужую человеческую кожу. Кожу, которую срезали с нас. И они донашивали её за теми, кого здесь травили насмерть. Что они чувствовали в это время? Неужели их не мучила совесть? Неужели им не снились кошмары? Я-то видела их каждый день – как во сне, так и наяву.

А ещё за воротником я нашла булавку. Я подумала, что обязательно заберу её себе. У меня давно не было ничего своего – уже целую вечность. Так пусть будет хоть это. Конечно, я не могла её использовать никаким образом. Если бы это был нож или ножницы... но нам никогда не давали в руки острых предметов, иначе многие покончили бы с собой. Кто-то же должен продолжать работать. Продержаться здесь более трёх месяцев было настоящим подвигом выживания.

На мне всё висело, как на вешалке в примерочной. Надзирательница посмотрела на меня презрительным взглядом, но в целом осталась довольна. Уже тогда я стала понимать, что тут к чему, и что меня ждёт, поэтому так прямо ей и сказала:

– Я не хочу в бордель.

– Там хорошая еда и красивая одежда. Тебя переведут в двадцать четвёртый блок, и если повезёт, оставят там надолго. Одно посещение – две рейхсмарки. Конечно, денег тебе не дадут, зато будет шоколад. Настоящий шоколад! – ответила она. – Ты ведь француженка?

Я кивнула. От страха у меня зуб на зуб не попадал.

¹⁶ Из воспоминаний Бланки Ротшильд, бывшей заключённой Равенсбрюк.

– Значит, знаешь в нём толк. Когда-то я разводила французских бульдогов, ещё до войны. Все – чистокровки, прям как ты, – и она залилась лающим смехом. – Так что можешь считать, сорвала куш. Ты понимаешь, о чём я? Многие умоляют, чтобы их оставили там до конца войны.

Сказать, что я была шокирована – ничего не сказать.

– Иди за мной, – разочарованно приказала она, наверное, решив, что я просто глупая.

Мы вышли из лазарета и направились к другому зданию с кирпичными колоннами, где квартировали эсэсовские офицеры. Меня привели в комнату на втором этаже, где всё было просто: стол, стулья, кровать, единственное мягкое кресло с треснувшей на сидушке обивкой, из которой торчали клочья ваты. Оно ни к чему не подходило. Его украли, вынесли откуда-то и поставили здесь для удобства. А ещё там был человек – мужчина. Тот самый офицер с изуродованным лицом, которого я видела в первый день по прибытии. Он был без фуражки и длинной серой шинели. На нём была только шерстяная рубаха и штаны с подтяжками.

Капо втокнула меня в дверной проём и плотно захлопнула дверь. Дело было сделано. В остальном она снимала с себя все обязательства, хотя и знала, что меня ждёт дальше. Мне показалось, что она даже порадовалась за меня. Там люди радовались такому, что нормальному человеку и в голову не придёт. Находили удовольствие смотреть на всякие ужасы, на то, как унижают других, на казни. Например, начальница женской половины лагеря Мария Мендель любила выбрать кого-нибудь из детей, подкармливать, возиться с ним, дарить игрушки, а потом отправить в газовую камеру. С другими она сразу расправлялась без сожалений – совсем маленьких могла сжечь в печке, постарше – зарубить лопатой.

Я застыла на месте. Мне нужно было подготовиться, каким-то образом отрешиться от действительности – только в этом случае, как мне тогда казалось, я смогу пережить это. Мужчина достал из ящика стола парик из длинных светлых волос и приказал надеть его. При этом он сказал, что заметил меня ещё тогда, когда нас выгружали из поезда. Ему понравились мои волосы, и ему очень жаль, что их пришлось сбрить. «Видишь ли, – сказал он, – от вшей нет никакого спасу. Они заедали на фронте, заедают и здесь». Он пытался найти среди конфиската нечто похожее, но нашёл только этот парик, снятый с чужой головы. По всей видимости, волосы были настоящими, пропахшими духами – тяжёлыми и густыми от большого количества мускуса. Такими, какими пользуются зрелые женщины.

Я надела парик на голову. Немец спросил, сколько мне лет. Я ответила, что девятнадцать, и он кивнул. На столе стояла бутылка водки и один стакан. Он налил его до краёв и приказал выпить. «Это поможет тебе расслабиться», – сказал он. Только сейчас я поняла, что он говорит со мной по-французски, с акцентом, конечно же, но тем не менее...

Зажмурившись и стараясь не вдыхать алкогольные пары, я выпила водку залпом. Она огненным вихрем пронеслась у меня по пищеводу и обожгла желудок. С громким стуком я поставила стакан на стол и потребовала добавки.

Он отказал мне, сославшись на то, что я буду слишком пьяной, а пьяные женщины ему не нравятся. Я же боялась, что из-за страха не сумею опьянеть настолько, насколько это необходимо, чтобы не чувствовать ни боли, ни унижения. До сих пор я не имела сексуальных контактов с мужчинами, и это было совсем плохо ввиду того, что мне рассказывали другие узницы Аушвица. Девственницы нравились немецким солдатам больше всего. Они набрасывались на них, как голодные волки, по шесть-восемь человек. И даже когда эти бедняжки теряли сознание, их продолжали зверски насиловать. Я знала об этом уже тогда, и то, что в комнате нас было всего двое, ещё ничего не означало. Я разделась и легла на кровать. Я представила, что уже умерла и лежу в гробу, хотя понимала, что это очень далеко от правды. Но алкоголь сделал своё дело. У меня ужасно разболелась голова. Я не смогла бы встать даже, если бы меня гнали из этой комнаты

пинками. Тело больше не слушалось, иногда я чувствовала, как подрагивают мышцы – то в ноге, то в руке, как дёргается верхняя губа – вот, пожалуй, и всё.

Не могу сказать, что я не почувствовала никакой боли. Всё было до крайности отвратительно, но терпимо. Немец был высоким – когда мы стояли там, на плацу, я заметила, что едва достаю ему до плеча, а сейчас он нависал надо мною, как какая-то унылая каменная глыба. И его лицо... оно всё время попадало в поле моего зрения. У него не было части носа, будто его срезало осколком снаряда, и вдобавок спёкшаяся кожа. Он наверняка знал, какое отвращение вызывает в женщинах её вид и нарочно касался ею то моей щеки, то шеи. Всё время тёрся и тёрся, не переставая толкаться у меня внутри...

...Знаете ли вы, мадам Леду, как устроено обыкновенное пианино? Внутри него сокрыты струны, связанные с клавишами. Вы нажимаете на клавишу, и оно издаёт чистый, музыкальный звук. Но если струна оборвана, вы не услышите ничего, кроме стука. Глухого грохота внутри – будто в гроб вколачивают гвозди.

В тот момент у меня в душе срезали все струны. Я не ощущала ничего, кроме глухих ударов, исходящих откуда-то снизу. А ещё биение сердца – достаточно ленивое, должна сказать. Когда всё закончилась, я подумала, что не ощущаю, собственно, никакой разницы – что до, что после. По крайней мере, я была жива.

Он перевалился на бок и какое-то время мы лежали в полной тишине. Я слышала, как выравнивается его дыхание, как оно становится спокойным и умиротворённым.

– С француженками всегда проще... – наконец, сказал он. – *Вот русские оказались чертовками, приходится связывать. Сперва эта возня мне нравилась, но теперь, когда я весь исцарапан и искусан, я поступаю проще — пистолет у виска, это охлаждает пыл...* Между нами здесь произошла неслыханная в других местах история: русская девчонка взорвала себя и обер-лейтенанта Гросс. Мы теперь раздеваем донага, обыск, а потом...

¹⁷ Как ты думаешь, после такого возможно остаться человеком?

Он повернул ко мне лицо, а я к нему. Какое-то время мы молча смотрели друг на друга.

– Нет, – ответила я.

Это единственный разговор, который состоялся между нами в тот день. О чём нам ещё было говорить? Не знаю...

Меня снова переодели в полосатый халат и отвели в барак. Единственное, что мне удалось утаить, так это английскую булавку. Я положила её в рот. В последний момент надзирательница сунула мне в руки какой-то свёрток.

– Это Geschenk, – сказала она, скалясь. – Подарок.

Я сделала несколько шагов от выхода, он развернулся, и всё содержимое посыпалось на пол: несколько крупных кусков хлеба, печенье и прочее. Geschenk – так они это называли. Плата за услугу. Так угощают ребёнка, который спел рождественскую песенку или рассказал стишок. Я никогда не выглядела на свой возраст, всегда казалась моложе своих лет. А тогда я и подавно выглядела не старше двенадцатилетнего ребёнка – худая, с чрезвычайно тонкими костями.

Голод превращал нас в эгоистов, заставлял переступать не только через гордость, но и другие качества, которые отличают людей от диких животных, пожирающих друг друга ради выживания. Перешибить его может только глубокое потрясение. Сделать к нему нечувствительной, не такой уязвимой. Глубокое отвращение к собственному существу.

Я видела, как несколько яблок укатились под нары. Через всё остальное я просто переступила. Женщины срывались с мест, подбирая всё, до чего могли дотянуться. Они отталкивали друг друга, вцеплялись друг другу в волосы, отбирали крохи у тех, кто был слабее, и набивали ими рты. Они мычали, царапались и дрались за моей спиной, а надзиратели били их резиновыми дубинками, пытаясь усмирить эту обезумевшую толпу изголодавшихся людей. Они били их только за то, что они хотели есть, и тут же смеялись над ними.

¹⁷ Из письма, найденного у немецкого лейтенанта Гафна.

Фриде обняла меня и усадила на соломенный матрас.

– Так или иначе, какая разница? – сказала она. – Вряд ли тебе доведётся кому-нибудь об этом рассказывать.

Я засмеялась. Из моих глаз градом катились слёзы. Она, конечно, была права.

На следующий день после построения мы снова отправились в швейный цех. Я не опускала глаз. Я не старалась сделаться невидимой, когда другие женщины показывали на меня пальцем или шушукались за моей спиной. Они пытались рассмотреть какую-нибудь разницу в отношении ко мне охраны, но так её и не увидели. Очевидно, я так и не вошла в тот узкий круг избранных, которые обслуживали офицеров СС в качестве горничных или любовниц. Все мы продолжали трудиться, как обычно. *Когда мы возвращались с работы, перед ужином, нам приходилось смотреть, как казнят людей. Там было два или три ряда проводки, электрических проводов, и тех людей, кого должны были повесить, они ставили между проводами. И они могли стоять так по три дня, без пищи, в лужах собственных испражнений. А когда мы шли с работы, они казнили их. Они делали эшафот из стола и стула, подвешивали их и зачитывали какой-то шутовской приговор, а потом выбивали стул... Одного из них застрелили... Сначала его подвесили, но он начал кричать: «Вы убийцы! Вы проиграете эту войну. Ваш Гитлер содохнет!» — и все такое прочее. И тогда эти парни просто принялись стрелять, а потом вдобавок еще и вздернули его. А мы уже просто бесчувственными стали, так что нас больше даже ничего не трогало. Смотришь на трупы, смотришь, как людей вешают... и только знаешь, что ты должен что-то чувствовать, как-то реагировать... К счастью ...потом что-то происходит и все возвращается на свои места. Например, когда ты видишь, что кого-то сбила машина или еще что-то вроде того. То есть со временем ты снова становишься самим собой — вы понимаете, о чем я говорю?»¹⁸*

Мадам Леду молча кивнула. На её лице одновременно отражались ужас и потрясение.

– Так прошёл месяц или около того. Мы с Фриде сильно сблизились. Поддерживали друг друга по мере возможности. Если нам долго не удавалось заснуть от холода, мы начинали мечтать вслух. О разном. О том, что война закончится, о том, что нас освободят, как мы вернёмся домой и как воссоединимся со своими близкими. Я говорила об этом, твёрдо зная, что и близко не дотяну до того дня. Но Фриде... В её голосе слышалась уверенность в том, что этот день непременно настанет. Иногда она позволяла своему воображению рисовать настолько реалистичные картины будущего, что я невольно начинала в них верить. Это казалось тогда самым страшным – верить в то, что никогда не наступит. Но она всегда говорила, что намерена дожить до самой победы, чтобы лично присутствовать при том, как повесят нашу надзирательницу, и начальницу женской части лагеря, и всех этих эсэсовских вырождаков одного за другим.

– Вот увидишь, так и будет, – говорила она. – Они все получают по заслугам. Только надо не переставать надеяться. Кто-нибудь обязательно до этого доживёт. И тогда они всем расскажут, что здесь происходило, всему миру. Потому что есть такие, кто ещё не знает, что здесь творится, и их много. Почти никто толком не знает. Ты как хочешь, а я намерена рассказать...

Было бы здорово, если бы сейчас она сидела рядом с нами за чашкой чая. Фриде подтвердила бы мои слова. Она была жизнерадостным человеком, этого было не отнять.

– Она умерла? – спросила мадам Леду. – Как это произошло?

– Так, как никто не смог бы даже предположить, – покачала головой старуха. – Поначалу Фриде выглядела очень здоровой и сильной. У неё было плотное телосложение, крупная голова, выпирающие скулы, неправильный прикус – нижняя челюсть чуть заступала за верхнюю. Чем-то, весьма отдалённо, она напоминала мне мадам Мартен, оставшуюся далеко в прошлом... С самого начала стало ясно, что её не отправят в газовую камеру, а отберут для принудительного труда. Она легко могла колоть дрова или

¹⁸ Из воспоминаний Болеслава Бродецкого, узника лагеря принудительного труда.

таскать камни. Она часто говорила, как мечтала бы размозжить таким камнем голову кому-нибудь из охранников лагеря или по крайней мере, одной из их бешеных собак, которых они часто натравливали на нас. Если бы она так и сделала, её немедленно бы поставили к стенке. Фриде это хорошо понимала, и поэтому никогда не лезла на рожон. Она всегда сохраняла спокойствие, граничащее с безразличием, за исключением тех моментов, когда с нею случались припадки.

До сих пор я о них почти не упоминала. Сейчас самое время.

Иногда с Фриде случались приступы кратковременного помешательства. Это и не удивительно, принимая во внимание все реалии Аушвица. То, чему мы становились свидетелями каждый день. Иногда они случались днём – тогда я прикрывала её, как могла, но чаще ночью – всегда в одно и то же время – где-то с часу до двух. Её место было с краю кровати. Вдруг посреди ночи она просыпалась и начинала неистово молиться, просила, чтобы её выпустили из барака, уверяла, что попала сюда по ошибке. Она всё время спрашивала: «Где мы? Как отсюда выбраться?» и порывалась встать. При этом Фриде не узнавала никого и ничего. Тогда я крепко сжимала её руку и держала до тех пор, пока она не затихала. Её сознание имело уникальное свойство: включаться и выключаться, словно в её голове перещёлкивали тумблер. Сначала я думала, что это что-то вроде защитной реакции – она пытается отстраниться от всего, что нас окружало, забыть об этом хоть на несколько коротких мгновений, почувствовать свободу, которую у нас отняли. Даже сейчас я всё так же уверена, что это и было главной причиной её болезненного состояния – её душа рвалась на волю из этих проклятых застенков и обретала её на короткий срок...

Как-то раз я была слишком уставшей. Мне с трудом удалось заснуть от голода и от жажды – напиться тут тоже было негде. В течение дня, когда нас перегоняли из барака в цех и обратно, нам удавалось зачерпнуть пригоршню-другую снега, и мы съедали его. Но это было не очень полезно – есть снег. Там, на улице, постоянно расстреливали людей, или перетаскивали трупы, или высыпали золу из печей крематория (последняя меньше всего представляла угрозы). Так можно было запросто заразиться какой-нибудь болезнью и умереть. Но нам хотелось пить, и мало кому удавалось пересилить жажду. Поэтому мы продолжали есть снег. Но когда нас закрывали в бараке на ночь, там снега не было. Только холод. С потолка свисали сосульки, но до них могли дотянуться только те, кто спал на верхних нарах. У каждого места были свои преимущества, так сказать, – тихо рассмеялась старуха. – Там, наверху, когда шёл дождь, всё промокало, когда снег – было что пить и есть. Но от холода было не скрыться. В крыше имелись огромные щели, в которые задувал колючий ветер. Часто люди замерзали насмерть, а утром их окоченевшие тела стаскивали к выходу.

Так вот, в ту ночь я наконец-то заснула и не заметила, как Фриде сползла с нар. Она подошла к двери барака и стала колотить в него кулаками. А ещё кричать, чтобы её выпустили. Она требовала каких-то объяснений, просила связаться с семьёй, вызвать к ней адвоката. Представляете? В тот момент она действительно ничего не понимала.

Я проснулась от её криков, но прежде, чем успела вскочить с лежанки, дверь открылась, внутрь вбежали несколько охранников и выволокли Фриде на улицу. Мы все замерли. Никто и слова не вымолвил, потому что все мы знали: теперь ей конец!

Мне стало горько и страшно. Помню, меня тоже кто-то обнял, чтобы согреть – вот такая там у нас была взаимоподдержка. Но прошло около часа, и Фриде вернулась. Точнее, её втащили в барак, выволокли на середину и оставили лежать там, полностью неподвижную. Когда охрана ушла, и двери закрылись, мы аккуратно перенесли её на нары и уложили на сырой матрас.

Она застонала. Впервые за всё это время. Она была ужасно избита. У неё практически не было лица, впрочем, как и шанса дожить до утра. Но я уже говорила, что физически она была очень крепкой. Это давало мне некоторую надежду на то, что она поправится. Конечно, я корила себя за то, что подобное случилось по моему недосмотру. Я

чувствовала себя в какой-то мере ответственной за её жизнь. Смешно, конечно. Два мертвеца, радеющие за благо друг друга. Под нашими ногами давно разверзлась могила, а мы всё ещё цеплялись за её край, опасаясь упасть, при этом толком не представляя, что лучше – жить дальше или умереть сейчас, таким образом избавившись от многих лишений.

В другой раз я надавала бы ей пощёчин, чтобы привести в чувства. Но при данных обстоятельствах это было практически невозможно. Её лицо напоминало разбухшую опару, я не могла позволить себе до него даже дотронуться.

– Нужно, чтобы отёки сошли до утра. Никто не должен видеть её в таком состоянии.

Какая-то женщина протянула мне смоченную в воде тряпку – небольшой лоскут, оторванный от своего халата, на котором чёрные и белые полосы давно превратились в сплошной серый фон – и мы положили её Фриде на лицо.

Фриде больше не шевелилась. Я тихонько позвала её по имени, и тогда она словно очнулась ото сна. Она слепо повернула голову на звук моего голоса и попыталась заговорить. Она произнесла всего одно слово..., – старуха резко прервала рассказ. – Вам нехорошо? – осведомилась она у слушательницы.

Мадам Леду по-прежнему сидела на диване. Кровь отлила от её лица, и губы стали совершенно бескровными.

– Ба? – подала голос Софи, приподнимаясь со своего места.

– Нет, не мешай! – остановила её старуха. – Пусть вспоминает. Пусть проговорит это вслух. Только так можно отпустить прошлое. Говорите, мадам Леду, говорите! – обратилась она к сидящей напротив женщине. – Расскажите мне всё, что вы помните!

– Была ночь, – пробормотала мадам Леду. Взгляд её стал отрешённым, а руки тряслись. – Я проваливалась в неё время от времени. Будь то утро, день или вечер... всё равно. Но никогда так глубоко и надолго. Ночь, пахнувшая давно не мытыми человеческими телами и испражнениями. Холодная, вызывающая дрожь и зуд по всему телу. В спину колола солома. Я вечно была зажата со всех сторон. И вот однажды я вырвалась. Я думала, что стоит открыть дверь, и внутрь ворвётся свет. Но когда она открылась, я не ощутила ничего, кроме боли. Ужасной боли. Кажется, мне сломали рёбра и раздробили пальцы...

– Так и было, – кивнула мадам Гальен.

– А потом меня снова накрыла тьма – ещё более страшная и непроницаемая, чем раньше.

– Что же произошло дальше? – с замиранием сердца спросила старуха.

– Я назвала ей своё имя... Селестина...

– *Селестина!* Но зачем, зачем вы это сделали?

– Я подумала, что если назову его, то всё кончится...

– Что это было, мадам Леду? – допытывалась старуха. – Что это было?

– Я не знаю... Я не помнила, с чего всё началось, и не понимала, каким образом прошло. Временное помутнение рассудка без какой-либо видимой причины. Говорят, с беременными иногда такое бывает... Я боялась, что это каким-нибудь образом может отразиться на ребёнке, но, слава Богу, ничего такого не произошло. После того, как родился мой сын, галлюцинации прекратились, – мадам Леду провела по лицу ладонью, словно желала навсегда избавиться от наваждения. – Несколько месяцев меня мучили кошмары. Иногда мне казалось, что мои руки и ноги вывернули из суставов. Я чувствовала постоянный озноб. Голова раскальвалась, а усталость была настолько сильной, что валила с ног...

– Очень похоже на правду, не так ли? – подтвердила мадам Гальен.

– Простите, – извинилась она. – Каким-то образом мои личные переживания перекликаются с вашим рассказом. Это странное совпадение меня немного расстроило, но не больше. Надеюсь, я вас не беспокоила?

– Ничего подобного! – вскинула руки старуха. – Но неужели вы никогда не допускали мысли о том, что виденное вами – реально?

Мадам Леду отрицательно покачала головой.

– Невозможно. Это перечит здравому смыслу, – твёрдо выговорила она.

– Тогда, возможно, вы вспомните кое-что ещё из тех видений? – предложила старуха.

– Мне бы этого не хотелось, – отказалась мадам Леду, несколько успокоившись. – К тому же, всё это давно в прошлом.

– Тут вы правы, – согласилась старуха. – Тогда, надеюсь, вам не составит труда взглянуть на это. Я носила его всю жизнь, зная, что однажды встречу с вами и предьявлю в качестве доказательства. Время попыталось выгрызть его из моего тела, и большинство цифр стёрлись или поблекли. Их очертания размыли невидимые реки, струящиеся под кожей, но они всё ещё видны, – с этими словами она закатала рукав пиджака и предьявила хозяйке квартиры нечёткую, полинявшую татуировку. – Вы могли видеть подобное раньше. Может, вы мне скажете, что здесь написано?

Мадам Леду невольно отстранилась:

– Я могла бы предположить...

– Нет! Человек предполагает только в том случае, когда не уверен в правильности своей догадки, – возразила старуха. – Но отказываясь признать очевидное, вам, тем не менее, совершенно ясно, о чём тут идёт речь. Это так же точно, как и то, что вас зовут Селестиной Леду! Ведь так вы представились? Вы назвали это имя задолго до своего рождения – тогда, в далёком 1944-м... Оно пулей вылетело из вашего рта, прошив пространство, прошив само время! К сожалению, мне так и не довелось узнать, каким образом. И даже спустя более полувека, сидя в этом кресле и разговаривая с вами, я понимаю, что не добьюсь от вас хоть сколько-нибудь вразумительного ответа на этот трудный вопрос...

– Номер 73846, – с трудом выдавила из себя мадам Леду.

– Да-да! – восторженно воскликнула старуха. – Заключённая номер 73846! Именно так меня и называли с тех пор, как они отобрали у меня имя, разрушили мою жизнь! Конечно, вы не могли знать, как меня зовут. Только номер! Всегда только номер! И если уж на то пошло, я предьявлю вам ещё одно доказательство. Столько лет прошло... Морщины испещрили моё лицо. Знаете ли, старость берёт своё. Она не оставляет нам ничего, кроме воспоминаний – счастливых или не очень. Но фотографии – это своего рода ловушки, в которых мы запечатываем лучшие моменты своей жизни.

Порывшись в сумке, Софи достала из неё несколько старых фотоснимков и протянула их мадам Леду.

– Прощу, взгляните на них, – попросила она. – Ба ими очень дорожит.

– Они были сделаны в 1938, в Париже, на Марсовом поле. Ещё до того, как все эти несчастья обрушились на наши головы, – пояснила мадам Гальен.

Осторожно приняв фотографии, мадам Леду внимательно взгляделась в изображённую на них молодую девушку.

– Это вы, – сказала она после длинной паузы. – Я узнаю ваше лицо...

– Да, это я, – кивнула старуха.

– И всё-таки..., я..., – недоверчиво покачала головой мадам Леду. – Как такое может быть?

– Я не знаю, – пожала плечами старуха. – Каким-то образом вы заставили течь время вспять, чем причинили мне массу беспокойства и... подарили надежду, – уклончиво ответила гостя.

В комнате воцарилось напряжённое молчание. Маленький Этьенн спал в манеже, свернувшись калачиком и посасывая палец.

– Простите, я переложу его в кроватку, – пробормотала мадам Леду, и, подняв ребёнка на руки, унесла его в соседнюю комнату.

– Она нам верит, ба? – прошептала Софи, как только мадам Леду скрылась из виду.

– В такое невозможно поверить, по крайней мере сразу, – покачала головой старуха. – Всё говорит в нашу пользу, кроме, разве что, доводов здравого рассудка.

– Может, нам лучше уйти? – предложила Софи.
– Нет, – твёрдо возразила старуха. – Ещё не всё сказано.
Вернувшись, мадам Леду снова уселась на диван. Настроение её несколько изменилось.
– Расскажите мне всё, что вам известно о той женщине – бельгийке, – потребовала она.

Поджав губы, Софи уставилась на старуху.

– Я расскажу вам всё, что знаю, – пообещала мадам Гальен. – Фриде не умерла той ночью...

– Ни тогда, ни на следующий день, – добавила мадам Леду.

– Вы правы, – спокойно откликнулась старуха. – На следующее утро был вторник. А смотри, во время которых всех больных выводили из барачков и отводили в газовые камеры, обычно происходили по понедельникам. С этой точки зрения Фриде сильно повезло. Опять же, смотря что называть везением. Подозревая, что у неё сломаны рёбра, с помощью других заключённых я туго перемотала ей грудь тряпками, и мы почти донесли её на себе до швейного цеха. Она еле переставляла ноги. Весь день я шила за себя и за неё тоже. В противном случае её бы снова избили. Кое-кто из женщин помогал мне, так как сама я никогда не справилась бы с таким объёмом работы. Даже если надзирательница что-то и заподозрила, то не стала заострять на этом внимание. Так прошла целая неделя. Фриде ни о чём не спрашивала, а я никогда не заводила с ней разговора на эту тему. Иногда она смотрела на меня так, будто хотела сказать: «Я знаю, что ты кое-что про меня знаешь». А я отвечала ей похожим взглядом: «Не беспокойся, я никогда об этом не заговорю». Хотя это могла быть просто игра воображения. Я действительно никогда не интересовалась у неё, кто такая эта *Селестина*, какое она имеет к ней отношение, и почему Фриде той ночью назвалась чужим именем.

Весна вступала в свои права, снег таял, а это означало, что очень скоро нас должны снова бросить на земляные работы. Зиму пережили отнюдь не все. Люди в бараках постоянно менялись. Из старых знакомых оставалось не более трёх десятков женщин. Почти каждую неделю появлялись новые – те, которые ещё не разучились быть людьми, которые на своём примере демонстрировали нам то, как должен вести себя человек, потому как мне в последнее время часто начинало казаться, что я ничем не отличаюсь от грязного животного. Не свиньи, нет. По сравнению с нами свиньи были довольно упитанными. Мы же напоминали подыхающих с голоду вонючих хорьков.

Однажды нас отпустили чуть раньше обычного, не помню уж в связи с чем. Вернувшись в барак, я упала на лежанку, впитывая в себя сухое покашливание лежащих на соседних нарах людей, скрип гнилых досок, из которых была сложена крыша, тихое кряхтение и молитвы на иврите, когда за мной снова пришла капо. Она приказала мне встать и следовать за ней. В принципе, меня ждало то же, что и в прошлый раз. Разве что она назвала это вторым шансом, который выпадает не каждой, и посоветовала на этот раз не лежать, как колода, а проявить инициативу.

– А вообще, это странно, что о тебе вспомнили, – пожала плечами она. – Будь умницей, доставь ему удовольствие. Таких, как ты, выпускают через шесть месяцев.

Конечно, это было ложью, на которую покупались некоторые заключённые, принимаясь за «лёгкую работу». Отсюда был действительно только один выход.

Я оказалась в той же самой комнате в корпусе, предназначенном для офицерского состава. За столом сидел тот же мужчина с обожжённым лицом, только в отличие от прошлого раза он был совершенно пьян. Перед ним стояла надпитая бутылка рома. Другая, пустая, валялась под столом. Он снова предложил мне выпить, но я отказалась. Без всякого приглашения я села напротив, взяла в руки хлеб и начала жевать.

– Ты слышала? Войска союзников высадились в Италии. Они прорвали нашу оборону в Монте-Кассино. Наверное, они уже двинулись на Рим. На восточном фронте дела обстоят

ещё хуже. *Никто из нас не вернется в Германию, если только не произойдет чудо...*¹⁹ – немец усмехнулся. – Но мы остаёмся верными фюреру, выпивке и шлюхам.

Налив полный стакан, он тут же осушил его до дна.

– Знаешь, вначале войны *со мной случился по-настоящему пророческий разговор...* Тогда, в 1941 году, мой командир (сражавшийся с русскими еще под Нарвой в 1917-ом) остановился на пути в расположение и сказал: «Здесь, на этих бескрайних просторах, мы и найдем свою смерть. В точности как Наполеон... Запомните этот час, он знаменует конец прежней Германии»²⁰. Тогда я не поверил ему. Никто не поверил. Все мы были окрылены первыми победами. Но уже на седьмой день, едва только мы пошли в атаку, один из наших застрелился из своего же оружия. Зажав винтовку между колен, он вставил ствол в рот и надавил на спуск. Так для него окончилась эта едва начавшаяся, но такая ужасная война...²¹ Я расценил это как трусость, неверность долгу перед родиной и Гитлером, откровенным предательством. Но вот сейчас я думаю, что зная, что нас ждёт впереди, многие поступили бы так же. Я бы поступил..., – и он снова плеснул себе рому.

Я многое узнала об этом человеке в тот вечер. Его звали Гюнтер Геск. Его отец был священником, а мать – прачкой, и все они жили счастливо в маленькой деревушке почти на самой границе с Францией. Это вполне объясняло его сносный французский, на котором он изъяснялся в моём присутствии. Сначала он подрабатывал на строительстве автобанов, где всегда требовались крепкие рабочие руки, но после введения всеобщей военной повинности принял решение вступить в ряды СС. Конечно, изначально эти отряды предназначались исключительно для охраны Адольфа Гитлера. Но уже позже, гораздо позже в их руки вверили жизни тех, кто под тем или иным предлогом попадали в концентрационные лагеря смерти. Всех их позже признали преступниками, но тогда, в 1939-м многим молодым людям казалось, что пред ними открываются перспективы блестящего будущего. Все они чувствовали себя причастными к чему-то действительно великому и были готовы отдать за него жизнь. К слову, многие так и поступили. Думали ли они тогда о том, что их бог, их фюрер, не сможет их защитить ни от смерти, ни от вечного проклятия? Что он не всемогущ и у него нет всевидящего ока? Это понимание пришло гораздо позже. Ужасные потери Германии на Восточном фронте отрезвили многих.

Он говорил о них не переставая:

– Потери жуткие, не сравнить с теми, что были во Франции... Сегодня дорога наша, завтра ее забирают русские, потом снова мы и так далее... Никого еще не видел злее этих русских. Настоящие цепные псы! Никогда не знаешь, что от них ожидать²². Как-то во время атаки мы наткнулись на легкий русский танк Т-26, мы тут же его целкнули прямо из 37-миллиметровки. Когда мы стали приближаться, из люка башни высунулся по пояс русский и открыл по нам стрельбу из пистолета. Вскоре выяснилось, что он был без ног, их ему оторвало, когда танк был подбит. И, невзирая на это, он палил по нам из пистолета!²³ А ведь нам обещали, что все это кончится через каких-нибудь три недели... Кое-то был осторожнее в прогнозах – они считали, что через 2–3 месяца. Нашелся один, кто считал, что это продлится целый год, но мы его на смех подняли: «А сколько потребовалось, чтобы разделаться с поляками? А с Францией? Ты что, забыл?»²⁴. Доверчивые глупцы!

Но тогда это было только самое начало. Дальше хуже:

– Люди подыхали от голода, лютого холода, смерть... была просто биологическим фактом, как еда и питье. Они мёрли, как мухи, и никто не заботился о них, и никто их не

¹⁹ Из письма немецкого солдата Эриха Отта.

²⁰ Из воспоминаний Эриха Менде, обер-лейтенанта 8-й силезской пехотной дивизии.

²¹ Из письма артиллериста противотанкового орудия Иоганна Данцера.

²² Из дневника солдата группы армий «Центр», 20 августа 1941 года.

²³ Из воспоминаний немецкого артиллериста противотанкового орудия о первых часах войны.

²⁴ Со слов Бенно Цайзера. («1941 год глазами немцев» Р. Кершоу.)

хоронил. Без рук, без ног, без глаз, с развороченными животами они валялись повсюду. Об этом надо сделать фильм, чтобы навсегда уничтожить легенду «о прекрасной смерти». Это просто скотское издыхание.... Нам обещали, что о нас напишут романы, зазвучат гимны и песнопения. В церквах отслужат мессу. Но уже тогда я понял, что с меня довольно, я не хочу, чтобы мои кости гнили в братской могиле...²⁵

Я искал Бога в каждой воронке, в каждом разрушенном доме, в каждом углу, у каждого товарища, когда я лежал в своем окопе, искал и на небе. Но Бог не показывался, хотя сердце мое взывало к нему. Дома были разрушены, товарищи храбры или трусливы, как я, на земле голод и смерть, а с неба бомбы и огонь, только Бога не было нигде. Нет, ...Бога не существует, или он есть лишь... в псалмах и молитвах, в проповедях священников и пасторов, в звоне колоколов, в запахе ладана, но в Сталинграде его не было... Я не верю больше в доброту Бога, иначе он никогда не допустил бы такой страшной несправедливости. – После этих слов он достал ещё один стакан и, наполнив и его, придвинул ко мне. – Я больше не верю в это, ибо Бог прояснил бы головы людей, которые начали эту войну, а сами на трех языках твердили о мире. Я больше не верю в Бога, он предал нас, и теперь сама смотри, как тебе быть с твоей верой²⁶.

Гюнтер Геск был ранен под Сталинградом, после чего получил назначение в Аушвиц.

– После всего, что мне довелось увидеть, сначала я думал, что попал в рай. Главный лагерь Освенцима был как маленький город. Там были свои сплетни, был магазин, где ты мог купить овощи и кости на суп. Была столовая, кинотеатр, театр, где регулярно проводили представления. Был спортивный клуб, который я посещал. Были танцы. Было весело и приятно. В первые дни здесь я был весьма доволен жизнью. Я пытался разузнать об этом месте поподробнее, и мне сказали, что это особого рода концлагерь. Я смог в этом убедиться, когда однажды ночью послышались крики: «Транспорт!», и мы все выбежали на улицу. Я спросил: «Из-за чего такой переполох?» И мне ответили: «А разве ты не знаешь? Здесь заведено так. Прибывают транспорты с евреями, и от тех, кто не в состоянии работать, избавляются»²⁷. Только тогда я начал кое-что понимать. Процесс отбора проходил довольно упорядоченно, но когда все закончилось, это место было похоже на ярмарочную площадь. Там была куча мусора, а рядом с этой кучей мусора находились больные люди, неспособные передвигаться, какой-то ребенок, потерявший мать, кто-то спрятался во время обыска поезда. Этим людей просто убивали выстрелом в голову...Ребенка... поволокли за ногу и швырнули в кузов грузовика... когда он закричал, как больной цыпленок, его просто ударили головой об угол кузова...²⁸. Тогда до меня окончательно дошло. Это была просто другая сторона одной и той же медали. Ещё одна безобразная физиономия войны, в которую мы ввязались. Но там, на фронте, у людей по ту сторону траншеи хотя бы было оружие. Здесь же мы каждый день истребляли тысячи беззащитных женщин, стариков и детей. Это было отнюдь не одно и то же. К тому же здесь позволяли пить, много пить, и это было оправдано. На трезвую голову ни один человек не смог бы ужиться с подобным кошмаром. Знаешь ли, от такой сытой жизни меня снова потянуло на фронт, и я подал прошение о переводе. Таких, как я, оказалось несколько человек. Но вместо того, чтобы удовлетворить его, нам напомнили наш девиз: «Наша честь – это верность», верность приказам. А приказ тут только один: истреблять врагов нации. Все, кого сюда доставляли в товарных вагонах, оказывается, были врагами Германии и самого фюрера, плетущими за нашей спиной бесчисленные интриги, виновные в смерти тысяч немецких солдат...

²⁵ Из письма неизвестного немецкого солдата.

²⁶ Из письма неизвестного немецкого солдата.

²⁷ Из воспоминаний Оскара Гренинга, охранника концентрационного лагеря Освенцим («Освенцим: новая история», Лоуренс Рис).

²⁸ Из воспоминаний Оскара Гренинга, охранника концентрационного лагеря Освенцим («Освенцим: новая история», Лоуренс Рис).

Он говорил довольно долго, а я слушала. Я услышала ещё много чего в тот вечер. Это могло шокировать, но не меня. Не тех, кто прожил тут почти полгода и насмотрелся такого, от чего любой потерял бы покой и сон. Но я научилась сосуществовать с этим: со смертью, с пытками, с голодом, с болезнью, с насилием, намеренно не пуская в сознание тот ужас, который олицетворяли эти слова.

Я сидела, не говоря ни слова, потягивая крепкий ром и потихоньку пьянея. От меня не требовалось никаких комментариев. Я ожидала, что всё это кончится так же, как и в первый раз, но Геск был слишком пьян и слишком подавлен, чтобы воспользоваться мною. Поэтому он оставил меня у себя в комнате до утра.

Это было вопиющим нарушением дисциплины. Но в последнее время охранников всё чаще видели пьяными, они водили к себе на ночь шлюх, и никто им не делал выговоров. Думаю, они уже тогда хорошо понимали, что проиграли эту войну, и что их ждёт после того, как Германия капитулирует официально. Многие ещё надеялись вернуться на родину, так сказать, сбежать с места преступления, но впоследствии это удалось далеко не всем.

Что же касается меня, то я впервые за прошедшие месяцы спала в тёплой постели. Мне было стыдно за удовольствие, которое я испытывала, но ничего не могла с собой поделать. Каждый раз, когда за окном моего дома холодно и промозгло, я по шее укрываюсь одеялом, и мне тут же вспоминается та ночь со всем своим ужасом и блаженством.

Правда, утром случилось то, что и ожидалось. Причём Геск признался, что это невероятно бодрит. Он встал с совершенно другим настроением, не таким, как накануне и быстро выставил меня за дверь. На прощанье он сказал, что мы ещё увидимся. На этот раз в награду мне дали небольшой кусочек козьего сыра. Его готовили польские крестьяне на близлежащих фермах. На них имелись небольшие хозяйства – куры, гуси, свиньи, коровы и козы. Я разделила сыр на столько частей, что самой мне досталось всего несколько крошек. С минуту я наслаждалась тем, как они тают на языке. Остальное пришлось раздать.

Гюнтер Геск питал ко мне временную привязанность, похожую на ту, какую питала начальница женской части лагеря, откармливая своих маленьких питомцев, а потом сжигая их в печах крематория. Вполне возможно, в самом скором времени меня ждала та же участь. Может, он думал, что я уже мертва, и потому нема, как могила?

За весной наступило лето. Я держалась Фриде, а Фриде – меня. Мы мало разговаривали – разговоры были там не в чести. За них часто били. Особенно, когда разговаривали за работой... И, да, работа. Мы больше не шили, но и не копали рвы. Мы садили овощи – свеклу и капусту – аж до июня. По правде сказать, это была не самая тяжёлая работа.

Когда наступили жаркие дни, в бараке стало нечем дышать. Холод сменился духотой. Из-за этого вонять стало ещё сильнее. Я часто чувствовала себя больной и разбитой, так что еле могла подняться с кровати. Днём меня клонило в сон. Особенно если солнце светило целый день прямо на согнутую спину. С одной стороны было приятно, но с другой – я ощущала, что прилично ослабла.

С Фриде тоже было не всё так просто. С ней по-прежнему случались припадки. Часто ночью, когда все в бараке спали. Но я изобрела одно средство, которое могло привести её в чувство, если не моментально, то довольно быстро. Я доставала свою английскую булавку – единственную принадлежащую мне вещь – и колола ею Фриде в разные чувствительные места. Наверное, мои извинения несколько запоздали, но прошу вас простить меня, мадам Леду, я неумышленно причиняла вам боль. Изначально я думала, что имею дело только с Фриде. Мне и в голову не могло прийти, что в тот момент вас там могло быть двое, – старуха откашлялась. – Даже не так. Там, в этом измученном голодом и побоями теле были только вы. Фриде в это время находилась далеко, в совершеннейшей недосыгаемости ни для надсмотрщиц, ни для меня самой. И я колола нещадно. Как мне казалось, это должно было прояснить её мысли, а на самом деле я насильно возвращала

Фриде назад – в этот сущий ад на земле. Когда она начинала узнавать меня, то делалась раздражённой и чуть не набрасывалась с кулаками. Она вела себя так, словно спала, а я прервала прекрасный сон:

– Что ты сделала?! Мне было так хорошо. Я была свободной!

– Ты стонала очень громко, а ещё несла какую-то чушь, – отвечала я. – Если бы ты начала кричать и драться, тебя снова избили бы. Как в прошлый раз. Ты этого хочешь? Умереть по глупости?

Тогда она снова укладывалась на спину и надолго замолкала. Часто она так и засыпала, больше не проронив ни слова. Но как-то раз она всё-таки произнесла:

– Что бы случилось, если бы я всё-таки умерла? Где бы я в конце концов оказалась?

Это был чисто практический, а не риторический вопрос, но тогда я воспринимала действительность несколько иначе, не понимая всех нюансов. Поэтому ответила:

– В крематории. Члены зондеркоманды о тебе хорошо позаботились бы.

– Нет, – твёрдо сказала она. – Я не об этом. Хотя, почём тебе знать? – и она обиженно отвернулась.

Действительно, откуда мне было знать? Пожалуй, никто в целом мире не мог сказать, что случилось бы с Фриде, умри она в тот самый момент, когда оказалась на вашем месте, а вы на её. Полагаю, этот вопрос так и останется без ответа.

Однажды...я была в... отхожем месте, в уборной, которая находилась на углу... м-м... площадки, там была большая площадка посреди лагеря, а вокруг нее стояли бараки, точнее, по большей части с двух сторон от нее, а уборная была на углу. И вот я как раз зашла туда, и когда я была там, вдруг раздался шум, крик и все стали разбегаться по своим баракам, потому что именно там людям полагалось быть в это время, а я... я осталась в уборной. Ну, я залезла на сиденье и стала смотреть через маленькое окошко наверху, и оказалось, что несколько человек пытались бежать и их поймали. Мне кажется, они были ранены, я слышала какие-то выстрелы, а потом они отобрали, по моему, четырех человек, чтобы те выкопали могилы прямо за колючей проволокой, за оградой лагеря. И они принесли туда этих... этих людей, которые пытались убежать, которых уже застрелили, но они еще не умерли. И они заставили других... хоронить этих людей, которые еще не успели умереть, и те умоляли не закапывать их, кричали, что они еще живы, и просили сделать что-нибудь, убить их. Но они ничего не стали делать и просто похоронили их заживо... иначе они сами отправились бы туда же — были бы убиты. Для меня это стало страшным потрясением. Я до сих пор слышу их крики.²⁹ Но тогда это было ещё ужасней. Меня резко затошнило и вырвало. Вернувшись в барак, я всё ещё ощущала тошноту. Было так жарко, что мне показалось, будто я заболела и у меня температура под сорок. Когда в обед раздавали суп – это мерзкое варево, кишашее червями, которые мы с Фриде шутя называли «мясными консервами», я отдала ей свою порцию. У меня совсем не было аппетита. И это при том, что люди почти всё время там мёрли от голода. Заключённых с каждым месяцем прибывало всё больше и больше, их попросту нечем было кормить. Даже печи не справлялись с такой нагрузкой, и поэтому тела умерших немцы сжигали в вырытых наспех глубоких ямах. Вот для чего нужны были те рвы, а мы-то все гадали... к чему такие глубокие? Гораздо глубже любой траншеи.

Людей поступало много. Поэтому наши пайки постоянно уменьшали. Если на землю падали хоть несколько капель супа, заключённые пытались слизать их, пока те не впитались. Но я совсем не ощущала голода. Даже наоборот – любые запахи вызывали во мне отвращение.

Фриде сразу заметила, что со мной что-то не так:

– Почему ты не ешь? – спросила она.

– Кажется, я заболела, – ответила я. – Только бы не тиф.

– Я знаю тут одну женщину. Она врач. Возможно, она согласится помочь.

²⁹ Из воспоминаний Рут Вебер, бывшей заключённой Освенцима.

- Какая разница? Лечить всё равно нечем. Здесь нет лекарств.
- Ты ужасно выглядишь.
- Можно подумать, ты красотка, – попробовала отшутиться я.

Но она всё-таки настояла. После работы она привела ко мне какую-то заключённую и та внимательно меня осмотрела – кожу, глаза, даже попросила показать язык.

- Нет, это не тиф, – наконец заключила она. У меня с души как камень спал.
- Что же тогда? – спросила стоявшая рядом Фриде.
- Я кое-что слышала о тебе, – произнесла зечка. – Когда у тебя в последний раз были месячные?

Я не нашлась, что ответить. Давно. Очень давно. Здесь женщины ими не маялись. Менструации пропадали, и всё. Может быть, от тяжёлой работы или истощения. Ходили слухи, что нам что-то подсыпают в еду, чтобы они не начинались. Какой-то порошок, из-за которого живот разбухал и болел, начинались воспаления, но месячных не было.

– Сдаётся мне, ты беременна, – сказала она. – У тебя будет ребёнок. Ты понимаешь, о чём я толкую? Ребёнок!

Это было новостью! На тот момент мне было двадцать. А тут – ребёнок! Я не знала, зачем он мне нужен. Что с ним делать, особенно здесь, в Аушвице?

Наверное, я была так растерянна и расстроена, что вызывала жалость.

– Если они узнают об этом, то заставят тебя сделать аборт, после которого ты уже никогда не сможешь иметь детей. Постарайся родить. Пусть хотя бы всё идёт своим чередом, – посоветовала врач. – Не думай о ребёнке, подумай о себе. У тебя ещё целая жизнь впереди.

Целая жизнь! Тогда это звучало смешно. Какая такая жизнь? Здесь? В этом проклятом месте?!

– Скорее всего, ты его даже не выносишь..., – утешила меня женщина.

– А если ребёнок родится? Что мне с ним делать? – заплакала я. Уж верьте моему слову, тут было от чего отчаяться. Я не понаслышке знала, что женщина, готовящаяся к родам, вынуждена была долгое время отказывать себе в пайке хлеба, за который можно было достать простыню. Эту простыню она разрывала на лоскуты, и они служили пеленками для малыша. Стирка пеленок вызывала много трудностей, особенно из-за строгого запрета покидать барак, а также невозможности свободно делать что-либо внутри него. Выстиранные пеленки роженицы сушили на собственном теле.³⁰

– Если так случится, вовсе не обязательно, что его оставят тебе. Я бы на это даже не рассчитывала.

Это была сущая правда. После родов младенца уносили в комнату..., где детский крик обрывался и до рожениц доносился плеск воды, а потом... роженица могла увидеть тельце своего ребенка, выброшенное из барака и разрываемое крысами.

В мае 1943 года положение некоторых детей изменилось. Голубоглазых и светловолосых отнимали у матерей и отправляли в Германию с целью денационализации... Еврейских детей продолжали топить с беспощадной жестокостью. Не было речи о том, чтобы спрятать еврейского ребенка или скрыть его среди нееврейских детей... Рожденного ребенка татуировали номером матери, топили в бочонке и выбрасывали из барака.

Судьба остальных детей была еще хуже: они умирали медленной голодной смертью. Их кожа становилась тонкой, словно пергаментной, сквозь нее просвечивали сухожилия, кровеносные сосуды и кости³¹...

В последние полгода я столкнулась здесь со многими страшными вещами, но не думала, что смогу пережить ещё и такое. Полночи я плакала, не переставая. Всё пыталась понять, когда это могло случиться. И что меня ждёт дальше. Мне было очень страшно. Я

³⁰ Из воспоминаний Станиславы Лещинской, акушерки, бывшей заключённой Освенцима.

³¹ Из воспоминаний Станиславы Лещинской, акушерки, бывшей заключённой Освенцима.

передумала все мысли, какие только возможно. Предусмотрела любой исход, пережила его в своём воображении заранее, чтобы быть готовой к чему угодно. Фраза о том, что, скорее всего, я его даже не выношу, согревала мне душу. Да и мало ли что могло случиться? Выкидыши случаются довольно часто и при более благоприятных условиях. Я могла потерять его, надорвавшись, или меня могли пнуть в живот – такое происходило каждый день сплошь и рядом. Он бы умер и вышел сам по себе. Это было бы проще всего. Тогда я не относилась к этому ребёнку, как к своей плоти и крови. Я была к нему совершенно равнодушна. Расценивала его появление, как болезнь, от которой можно либо излечиться, либо умереть. Само его наличие намного усложняло мою жизнь. Вот и всё, что я чувствовала. Никакого материнского инстинкта, никаких сантиментов. Аушвиц сделал из меня железного прагматика, рассматривающего каждое новое явление в жизни исключительно с точки зрения его практической пользы. Наступило лето – прекрасно! Теперь мы могли есть траву. В ней было много витаминов. Она делала нас здоровее и выносливее. Беременность – плохо. От неё я становилась слабой и больной. Весь расчёт.

– Послушай, если ты забеременела в конце мае, то ребёнок должен родиться в январе или в начале февраля, – наконец сказала мне Фриде, крепко обхватив меня руками. Мы лежали на жёстких нарах, и она нашептывала мне на ухо.

– Если он вообще родится, – ответила я со вздохом.

– Это не так плохо. Значит, всё, что тебе нужно, это продержаться до 27 января, – сообщила она.

– Всего-то? – горько улыбнулась я. – Почему именно до 27-го?

– Война скоро закончится, и мы все отправимся по домам. Ты, я и ребёнок.

– Я слышу об этом с тех пор, как попала сюда. Максимум две-три недели! И что? Прошло столько месяцев...

Слухи о том, что война скоро закончится, действительно циркулировали как в мужских, так и женских бараках. Но вся беда состояла в том, что они никак не хотели оправдываться.

– К тому же я не хочу этого ребёнка. Я уже его ненавижу. Ты знаешь, кто его отец? Похотливая немецкая свинья!

Фриде закусил губу.

– Ты полюбишь его, как только он родится, – уверенно проговорила она. – По-другому и быть не может. Ребёнка нельзя не любить. Я вырастила дюжину братьев и сестёр, и хотела бы иметь столько же своих детей.

– Какая теперь-то разница? – я почувствовала, как меня накрывает смертельная усталость. – Либо его убьют сразу, либо он останется со мной и умрёт с голоду. В любом случае мне некого будет любить. Здесь вообще некого любить.

– Здесь – нет. Но очень скоро все мы окажемся на свободе. Это всё изменит. Полностью.

– Не верь слухам, – посоветовала я. – Тогда каждый последующий день не будет таким уж большим разочарованием. Наши перспективы видны невооружённым взглядом. Ты права только в одном: война закончится. Только не так скоро, и нам вряд ли удастся увидеть, чем именно.

– Скорее, чем ты думаешь, – резко возразила Фриде. – Запомни то, что я тебе скажу: постарайся продержаться до 27-го января, и нас всех освободят.

– Кто освободит?

– Советская армия. Солдаты со звездами на фуражках.

– Немцы их жутко боятся..., – вспомнила я.

– И правильно делают. Война закончится очень скоро. Акт о безоговорочной капитуляции Германии будет подписан 7 мая 1945 года. К тому времени мы все уже будем свободны.

– А Гитлер?

– Он застрелится у себя в бункере в Берлине.

- А Гесс?
- Его будут судить и посадят в тюрьму до конца его дней. Он умрёт глубоким стариком.
- А Мендель?
- Её повесят.

Я и дальше называла знакомые имена и получала подробные разъяснения о том, как кто кончит. Не скрою, это было приятно.

– Наступит время, когда все фонарные столбы будут увешены телами немецких солдат. Одно упоминание, что ты – немец по национальности будет проливать на репутацию несмываемое пятно всеобщего презрения и ненависти. Третий Рейх рухнет, а эти стены останутся стоять, и люди будут приходить сюда толпами, чтобы им пересказывали наши истории. Твою, мою и таких, как мы. Тех, кому удалось выжить и тех, кому нет. О нас будут помнить спустя даже сто лет!

- Но откуда, откуда тебе это известно? – допытывалась я.

Фриде замолчала. Потом снова заговорила:

– У меня есть тайна. С некоторых пор я живу как бы двойной жизнью. Это началось с тех самых пор, как меня запихнули в поезд. Когда нас привезли сюда, мне уже было кое-что известно об этом месте. Далеко не всё, но я хотя бы понимала, с чем столкнулась и по каким правилам следует играть, чтобы выжить. Что нужно делать, а чего лучше избегать. Иногда я как будто отключаюсь. Меня уносит в другой мир – мир будущего, где нет войны, где у меня снова есть семья, и все мы дружно живём в Брюсселе, в небольшой квартирке на улице Тиммерманс, в доме номер 5. Мы переехали туда совсем недавно – вещи ещё стоят не распакованными в коробках, и я беременна. У меня будет ребёнок, понимаешь? Ребёнок! И я знаю, как его назову... Этьенн... Я назову его Этьенном...

- Разве такое возможно? Всё это выдумки..., – сказала я, но она меня перебила.

– Я тоже не всё сразу поняла. Я училась, раз за разом узнавая что-то новое. Я научилась откликаться на новое имя – Селестина. Селестина Леду.

Я вспомнила испуганные глаза, ничего не выражающие, кроме крайней растерянности. Глаза *настоящей* Селестины Леду, *ваши* глаза, и как тогда мне показалось, догадалась, в чём дело. Произошёл некий обмен. Фриде оказалась на вашем месте, а вы – не её. Жизнь Селестины Леду вовсе ей не принадлежала, как не принадлежали ни муж, ни ребёнок. Она была позаимствованной на время. В лучшем случае на час, не более. Но голос Фриде был таким счастливым, что я не стала ей говорить о своих догадках. К тому же я вовсе не была уверена в том, что мы обе не спятили.

Так или иначе, её слова заинтересовали меня, и я начала расспрашивать:

- На что похож мир будущего?

– На улицах всегда много машин. По сравнению с ними те, которыми мы пользуемся сейчас – гробы из плохо сколоченных досок. Те намного комфортнее и ездят гораздо быстрее.

Тогда я спросила про людей.

– Люди не меняются. Они всегда одинаковые, во все времена. Но им легче стало находить друг друга, чтобы просто поболтать. Теперь они могут связываться, будучи на разных концах Земли, и даже в космосе. Они могут отсылать друг другу и принимать видеозвонки. Допустим, ты хочешь поговорить с кем-то, но можешь слышать не только его голос, но и видеть собеседника. И всё это в таком маленьком приспособлении, которое может уместиться в руке. Там много чего делают умные машины: стирают бельё, сушат его, моют полы, бурят землю, получают энергию. Они знают обо всём на свете. Стоит задать вопрос – и они тут же на него ответят. Это совсем другие технологии, которые нам ещё неизвестны, – добавила она. – С их помощью я и узнала о том, что и как будет.

Она рассказывала и рассказывала, описывая знакомый нам с вами мир в подробностях, которые было сложно просто взять и выдумать. И с каждым её словом я убеждалась, что всё это может оказаться правдой. Потихоньку я начинала и сама верить этому. Во мне

загорелся лучик надежды, что не всё так плохо, и что нам всё-таки удастся отсюда выбраться, стоит только потерпеть. Ещё чуть-чуть, совсем недолго. Всего полгода, если быть точной.

И я терпела, так как отныне была посвящена в некую тайну. Мне не передать, сколько сил это придавало. Я скрывала свою беременность, чтобы меня не отправили на принудительный аборт, потому как я рассудила, что если выйду отсюда, то мне захочется обзавестись семьёй и детьми. Я даже подумала, что смогу полюбить и это дитя. Как видите, мои взгляды на жизнь резко изменились, и с тех пор я старалась выжить ещё больше, чем раньше. Безразличие к собственной судьбе сменилось бешеным энтузиазмом. – Старуха улыбнулась, растянув свои тонкие морщинистые губы. – Мой живот почти не рос. К пятому месяцу на нём появился твёрдый бугорок. Он стоял, как ком, в котором время от времени чувствовалось еле заметное шевеление. Под просторным халатом его вообще не было видно. Всё шло без осложнений, самочувствие моё несколько улучшилось, разве что иногда всё ещё подташнивало. Фриде пыталась меня подкармливать – делилась своей порцией, но мне совестно было брать. Как-то раз она умудрилась где-то раздобыть кусочек маргарина, и я не смогла устоять. Маргарин здесь был самым изысканным лакомством... Потом ещё кусочек сахара.

– Теперь моя кровь будет ещё слаще для вшей, – шутила я.

– Гляди, осталось совсем недолго.

Мы обе жили в лихорадочном предвкушении того, что должно случиться. Наши глаза, давно потухшие, снова засветились надеждой. И в какой-то степени, мадам Леду, это была ваша заслуга. Вы позволили Фриде одним глазком взглянуть на мир, где больше нет войны, нет Гитлера, нет лагерей смерти, колючей проволоки. Где можно выйти за ограду и пойти, куда глаза глядят, и при этом не бояться, что тебе выстрелят в затылок.

Наступила осень, а с нею и холода. Нас разбивали на группы и приказывали выполнять всякую работу. В моей группе – около пятнадцати человек – пилили дрова. Нам выдали пилы с затупившимися зубцами, которые только и делали, что вгрызались в древесину и так и застревали. С обеих их концов были приделаны ручки. Мы брались за них и пилили эти огромные толстые колоды, дёргая каждая в свою сторону. Каждый раз принимаясь за работу, я боялась, что щепка попадёт мне в глаз, и я ослепну. Это совсем не женская работа, скажу я вам, но никто не жаловался. Ещё в начале мая в Аушвиц прибыл Йозеф Крамер, впоследствии прозванный «Бельзенским зверем», чтобы надзирать за работой газовых камер. Теперь дым из труб крематория валит день и ночь. Там творилась настоящая вакханалия смерти. Но в воздухе уже витали неуловимые флюиды перемен. Мы не могли их не замечать, так как каждый день теперь приближал нас к заветной дате – 27 января 1945-го года. Я слышала, что совсем недавно в лагере Биркенау заключённые подняли бунт. Члены зондеркоманды, тоже заключённые, в чьи обязанности входило сопровождать людей в газовые камеры, а потом избавляться от трупов, каким-то образом узнали, что их ждёт та же участь. Таким образом немцы избавлялись от улик своих ужасных злодеяний. Так вот, эти мужчины подняли восстание. Они убили нескольких охранников, попытались взорвать крематорий, но их схватили и казнили. Собственно, и раньше нам доводилось слышать, что кое-кто, не смирившись с существующим здесь положением вещей, оказывал сопротивление. Но до такого масштабного и яростного неповиновения ещё никогда не доходило. Мы жадно втягивали ноздрями этот новый ветер перемен. Как и прежде, он смердел трупами, но теперь потери были не только с нашей стороны. Гораздо важнее было то, что глаза немецких солдат постепенно становились такими же пустыми, как и наши – в них гасла надежда. «Красные дьяволы», как они называли советские войска, подступали всё ближе и ближе.

Я как раз раздумывала над этим, когда мы пилили дрова. Меня поставили в пару с ещё одной заключённой, кажется полькой. Она ни слова не понимала по-французски. Фриде тоже была здесь, но я её не видела. Очевидно, она стояла слишком далеко. Вдруг поднялся какой-то шум, какое-то оживление. Мы прекратили работать, и надсмотрщицы даже не

обратили на это внимание. Все куда-то спешили – к источнику беспокойства. Я тоже побежала вместе со всеми. Завернула за угол какого-то сарая, пробилась через неплотные ряды вытаращившихся женщин и вышла вперёд.

Я никогда не ожидала увидеть того, что увидела: наша надзирательница каталась по земле в обнимку с Фриде, пока та неистово молотила её кулаками по лицу. Обе они были высокими, крепкими и очень сильными. Ни одна не уступала другой. Я спросила рядом стоящих женщин: «Что случилось?». И мне ответили:

– Капо пнула её дубинкой в живот, вот она и разошлась. Закричала на неё, вцепилась в волосы и повалила на землю.

Фриде была сильна, как бык. Она легко справлялась даже с самой тяжёлой работой, от которой я думала, что умру к концу дня. Но всё дело было в том, что это была не она. Я это сразу поняла. Фриде никогда бы не сорвалась, получи она хоть сто затрещин. Как и я, она жадно ждала развязки, которая, как нам казалось, не так уж была и далека. И, конечно же, она никогда бы не полезла в драку. Мы обе участвовали в гонке на выживание, и до финиша оставались считанные месяцы. Если мы смогли продержаться тут год, могли потерпеть и ещё немного. Но против всех доводов рассудка Фриде каталась по земле и дико орала. Её глаза были полны смеси дикого ужаса и решимости защитить то, чем она дорожила более всего – свой живот, своего ребёнка, которых у неё, разумеется, никогда не было, но они были у вас, мадам Леду. Как и любая мать, вы никогда бы не позволили, чтобы вашему ещё не родившемуся сыну причинили вред, не так ли?

Мадам Леду закрыла лицо руками и согласно кивнула.

– Вы помните события того дня? – осведомилась старуха.

– Та немка... Она ударила меня в живот, – еле слышно проговорила женщина. – Я почувствовала боль, как если бы меня действительно пнули дубинкой...

– Это всё было взаправду, – подтвердила мадам Гальен. – Но вам лично, конечно, ничего не угрожало. Этот приступ, этот странный обмен сознаниями произошёл в самый неподходящий момент – тогда, когда я оказалась совершенно бессильна что-либо сделать. Моя английская булавка всё ещё была при мне – я никогда с нею не расставалась, но было бессмысленно пускать её в ход. Слишком поздно.

– За это её не просто повесят, а сделают с ней кой-чего похуже, – предположил кто-то из женщин.

– Наверное, она просто сошла с ума.

Это переговаривались русские. Со временем кое-как я начала понимать их речь. Они были напуганы до смерти, так как хорошо знали, что последует после. Скажу только, что все их чаянья оправдались самым худшим образом.

От побоев капо почти лишилась сознания. Она визжала, как свинья, когда охранники пытались разнять дерущихся, и у них это с трудом выходило. Наконец, Фриде оттащили прочь. Она словно сдулась, моментально прекратила сопротивление, отёрла рукавом робы разбитое лицо и обвела нас всех изумлённым взглядом. Посмотрела на меня, а я на неё.

Я в ужасе покачала головой.

Зато она ободрительно кивнула и улыбнулась, продемонстрировав кровоточащую щель от только что выбитого в схватке зуба. Зашевелила беззвучно губами, мол, всё будет хорошо, только не сдавайся... и всё это за минуту до того, как на неё спустили целую свору собак...

...Мадам Гальен плакала. По её впалым, покрытым глубокими складками щекам катились слёзы.

Порывшись в сумке, Софи достала из неё платок и подала старухе.

– Пожалуй, я принесу воды, – произнесла мадам Леду дрожащим от волнения голосом.

– Лучше рома. Если он у вас есть, – предупредила девушка. – Ба всегда питала пристрастие к этому напитку.

– Я бы и сама не прочь выпеть, – пробормотала мадам Леду и ушла на кухню. Когда она вернулась, то в обеих руках держала по стакану с чистой прозрачной жидкостью. – Вот, возьмите!

Старуха надпила немного из стакана и поставила его на стол.

– Благодарю, – коротко сказала она.

– Сколько бы раз ба ни рассказывала эту историю, она всегда плачет на одном и том же месте, – довольно бесстрастно сообщила Софи.

– Всё это время Фриде оставалась моей твердыней, – сообщила мадам Гальен. – А вы, мадам Леду, – волей неволей – единственным лучиком надежды. В тот день я потеряла вас обеих.

Вся работа пошла насмарку. Мы, заключённые, были слишком возбуждены увиденным – нет-нет, не смертью одной из нас, а тем, что капо, наконец, досталось по заслугам. Нас загнали обратно в барак, а несколькими часами позже выстроили на плацу. Тело Фриде болталось на наспех сооружённой виселице. Её раздели догола, отрубили руки и ноги, а потом подвесили за шею, как освежёванную тушу в мясницкой лавке. Это было суровое предостережение нам всем. А потом из нас выбрали десять человек, вывели на середину площадки и расстреляли в упор. Потом ещё десять, и ещё десять. Если бы в тот день мне в голову пустили пулю, она прошла бы насквозь – такой пустой я себя ощущала. Но этого не случилось. Мне опять *повезло*.

Поздно вечером дверь барака открылась и на пороге появилась надзирательница. Её лицо было сплошь опухшим, с огромными красными кровоподтёками. На нём виднелись глубокие борозды, оставленные острыми и кривыми ногтями Фриде, из них сочилась сукровица. Капо проорала мой номер, и я покорно пошла за ней. Я прекрасно представляла, что это моя последняя прогулка, после которой меня прямиком отправят в газовую камеру, стоит им только обнаружить под грязной одеждой округлившийся живот. Но я уже говорила, что чем ближе становился 1945-й год, тем больше хромала у немцев дисциплина. Меня должны были отправить на осмотр к врачу – это было обязательной процедурой, так как немецкие солдаты как чумы боялись венерических инфекций, но вместо этого мне сказали просто хорошо вымыться. Мне дали пузырёк с какой-то жгучей жидкостью от вшей, и я обработала ею голову. Мои волосы отросли и стояли над головой светлым ореолом. Потом мне выдали одежду – платье, которое затрещало по швам, стоило застегнуть молнию. Оно так явно обтягивало живот, что заметить его было просто невозможно.

Капо глянула на меня лишь мельком, и, кажется, ничего не заподозрила. От её придиричьих, круглых как у совы, но подбитых глаз остались только узкие щёлки, так что она почти ничего не видела. Вот так я оказалась в той же комнате, что и раньше, прикрывая живот руками и совершенно не представляя, что будет дальше.

Гюнтер Геск стоял у окна, за которым один за другим загорались фонари. В комнате горел яркий электрический свет. Я стояла, не шевелясь, ожидая громкого крика или удара по лицу – что угодно, что ознаменовало бы то, что дни мои сочтены. Но когда мужчина повернулся, он тоже застыл, как вкопанный, не сводя с меня глаз. В спёртом воздухе пахло спиртом. Это был просто удушающий запах. Такой густой, словно утренний туман над Сеной.

Я поняла, что это конец, что бояться уже, по сути, нечего, и подняла глаза. Когда я посмотрела этому человеку в лицо, у меня внутри словно сработал какой-то внутренний защитный механизм, который дремал уже несколько месяцев, и меня вырвало слюной и желчью прямо на пол. Но я быстро выпрямила и снова посмотрела ему в лицо.

Не сходя с места, опёршись спиной о подоконник, Геск что-то увлечённо подсчитывал на пальцах. Когда он сбивался, то взгляд его устремлялся на мой живот, после чего он снова возвращался к подсчётам. Наконец немец опустил руки, широко улыбнулся и, пошатываясь, направился ко мне. Я немного попятилась, но деваться всё равно было некуда. Приблизившись почти вплотную, Геск медленно и неуклюже опустил на

колени и обнял мои ноги. Он так неуверенно держался, что я опасалась, как бы не повалил меня своей тяжестью на пол. Признаюсь, я была совершенно сбита с толку.

Затем он заговорил по-немецки. Его язык немного заплетался, но даже если бы он выговаривал слова чётко, я вряд ли смогла бы понять их значение. Он говорил, и говорил, и говорил, и это, казалось, никогда не закончится. Потом с трудом поднялся, опираясь на мою руку, и мы оба сели на кровать. Он всё время поглаживал мой живот, и даже сквозь толстую ткань шерстяного платья я видела, как беспокойно ворочается ребёнок. Я могла только представлять, как он двигает своими худыми ручками и ножками, как открывает рот в беззвучном крике. Наверное, он был похож на маленького скелетика, пытающегося поудобнее устроиться под моими колючими рёбрами.

– Я всё подсчитал, – сказал Геск по-французски. – Это мой ребёнок. Смотри..., – он прошагал к письменному столу, открыл ящик, достал оттуда исписанный блокнот и предъявил мне. Я смогла разобрать только числа, но и этого оказалось вполне достаточно.

Каждая страница была поделена на три части. В первой значился номер из пяти цифр – точно такой, какой присваивали каждому заключённому Аушвица. Во второй – дата – день, месяц и год. А вот в третьей колонке имелись записи витиеватым почерком, которые при всём желании я не смогла бы расшифровать. Почти все строчки были аккуратно зачёркнуты прямой линией, иногда двойной. Но некоторые были наведены жирнее. В одной такой я разобрала свой номер.

Этот человек... о, этот человек не просто развлекался с заключёнными вроде меня, но вёл об этом скрупулёзные записи. Педантично... Типично по-немецки... У него всё было учтено, словно это был какой-то эксперимент, и в конце он надеялся на совершенно определённый результат.

Мы все знали о том, что в Аушвице постоянно проводятся медицинские эксперименты. Чаще всего ими заведовал Йозеф Менгеле, прозванный «ангелом смерти». Он ставил опыты на взрослых и детях. Им давали уколы, брали кровь, заражали разными болезнями, изымали органы, погружали в ледяные ванны, чтобы посмотреть, сколько человек способен протянуть в холодной воде прежде, чем его сердце остановится, и он перестанет дышать. Менгеле привлекали различные аномалии человеческого тела – великаны, карлики, близнецы. Особенно близнецы. Им вырезали глаза и пересаживали от одного другому, причиняли страдания одному, и наблюдали за другим, пытаясь нащупать ту невидимую связь, которая сообщала между собой похожие организмы. Об этом ходило много слухов. Каждый из нас знал об этом. Но тот эксперимент, которому подверглась я сама, носил совершенно иной характер. Я бы сказала, очень личный. И его результат сейчас толкался в моём тощем животе – маленький, как котёнок.

В этом была, пожалуй, моя исключительность. Я не хотела думать о том, что случилось с теми женщинами, чьи номера зачеркнули. И не питала пустых надежд на то, что моя собственная участь будет чем-то отличной от их.

– Теперь всё будет по-другому, – сообщил мне Геск. – Ты больше не будешь работать. Я поселю тебя здесь. А когда ребёнок родится, усыновлю его. Он никогда и ни в чём не будет нуждаться. Моя жена станет ему хорошей матерью. Каждый из нас получит то, что хотел: ты – свободу, а я – сына. Я лично позабочусь о вас. Но если ты попробуешь хоть как-нибудь ему навредить..., – с этими словами он извлёк из пристёгнутой к ремню кобуры пистолет и приставил к моему виску: – ...я без всякого сожаления вышибу тебе мозги.

Мне и раньше доводилось слышать, что у Геска есть жена. Время от времени она слала ему письма с просьбой прислать конфискованные меха или чулки, часто жалуясь на какие-то бытовые мелочи: например, на то, что немецким мылом невозможно стирать, а от немецких духов несёт, как из общественного сортира. Ей вечно чего-то не хватало..., – усмехнулась старуха. – Она требовала и требовала. Но вот, что для неё действительно должно было стать потрясением – так это то, что её муженёк однажды вернётся с войны с младенцем на руках в качестве трофея. Не думаю, что ей бы это понравилось, как и не

думаю, что Геск советовался с ней по поводу того, каким образом этот ребёнок должен появиться на свет. Чего им действительно не хватало, так это детей. По каким-то причинам их у них не было.

Полагаю, многие немки – жёны и подружки тех, кто ушёл на войну, догадывались, как обходятся немецкие солдаты с женщинами на оккупированных территориях. Но никто из этих мерзавцев не собирался пожинать урожай, приносимый бессловесными жертвами их насилия. Это было не в чести – разбавлять чистую арийскую кровь, перечило их идеологии, которая свела с ума целую нацию...

На тот момент один из офицеров СС лично гарантировал мне безопасность. Этого было довольно, чтобы продержаться ещё несколько месяцев. Вы скажете, что я пошла на сделку с Дьяволом, позволив себе принять его предложение. Но всё дело в том, что у меня не оставалось выбора. Никто не верил обещанной свободе. Только законченному глупцу было не ясно, что я никогда не выйду за эти стены. Сразу после разрешения от родов у меня забрали бы ребёнка, а саму отправили в газовую камеру. Единственную поблажку, на которую я могла рассчитывать, это – инъекция смертельного яда, которая избавит меня от мук ожидания страшной казни. Вот и всё. Что же касается моего ребёнка, то весьма возможно, он дожил бы до того момента, когда его передали бы другой женщине и та заботилась бы о нём ничуть не хуже родной матери. Но это уж никак не входило в мои планы. Я собиралась жить. Выжить ради того, чтобы выйти отсюда и самой воспитывать своё дитя...

К тому времени мне было плевать, кто его отец. Сначала я думала, что помнить об этом будет мучительно. Но с каждым прожитым днём понимала, что это не так уж и важно. Я привязывалась к своему ещё не рождённому малышу, так как вместе мы пережили столько, сколько иные не переживают за всю свою жизнь. Вам покажутся странными мои слова, но это вы, мадам Леду, пробудили во мне материнский инстинкт, – мягко улыбнулась старуха. – В ожидании своего первенца вы передали любовь к нему Фриде, до конца жизни искренне полагавшей, что всё это, – и старуха обвела комнату руками, – её жизнь. И даже смерть не вызывала у неё страха, так как в глубине души она верила, что умерев там, за колючей проволокой Аушвица, волшебным образом перенесётся сюда, к своей *второй* семье и будет жить с ней долго и счастливо. Она часто говорила об этом – о том, что её ждёт, хотя и не хотела торопить события. Может, что-то подсказывало ей, что не всё так просто? Как знать... Но она успела сделать ещё одно доброе дело – раскрыть во мне всю глубину той нежности и привязанности, какую только мать может испытывать к своему ребёнку. Именно это обстоятельство, а также желание защитить своё материнство, сделать его полноценным, породило недоверие к Геску, а также жгучее желание выжить.

Тем не менее, Геск сдержал своё обещание. Я больше не вернулась в барак. Меня поселили в довольно приличной комнате с кроватью и санузелом. Дважды в день мне позволялось совершать пешие прогулки в обществе немок-надсмотрщиц по территории лагеря. Не могу сказать, что они приносили мне удовольствие, хотя на меня никто не обращал особого внимания. Похоже, моё существование, равно как и положение, ни для кого не было секретом. Я стала больше есть, а мой живот – расти интенсивнее.

Когда советские солдаты в конце 1944 года подошли вплотную к Аушвицу, стало понятно: наше освобождение – дело нескольких дней. Все отчетливей доносились до барачных взрывы близких боев. Но это понимали и немцы – неожиданно комендант лагеря Йозеф Крамер приказал перебираться в глубь Германии, в лагерь Берген-Бельзен³². По этому случаю руководящий состав лагеря устроил что-то вроде прощальной вечеринки. На ней присутствовал сам Крамер, его любовница двадцатилетняя Ирма Гресе – белокурая валькирия, у которой, как говорили, имелся абажур, сшитый из кожи замученных ею женщин, доктор Менгеле, несколько офицеров

³² Из воспоминаний Марии Задисенской, бывшей заключённой Освенцима.

СС и кое-кто ещё из обслуживающего персонала лагеря, кого я не знала ни по именам, ни в лицо. Они все собрались в большой комнате за длинным столом. Там было много еды – столько я давно не видела. А ещё выпивки. Всё было заставлено бутылками со шнапсом, ромом и водкой. Было и шампанское, правда, немного. Геск взял меня с собой. С некоторых пор он демонстрировал меня, как ходячий инкубатор. Наверное, его рассудок всё-таки немного помутился от постоянных пьянок и напряжения. В последнее время он часто повторял: мы все здесь, как один сплошной комок нервов.

Мне подставили стул. Напротив уже сидели медсёстры Клара и Пфани. *Первая была акушеркой по профессии и попала в лагерь за детоубийство. Поэтому она была лишена права работать по специальности. Ей было поручено совершать то, для чего она была более пригодна. Она была назначена старостой барака. Для помощи к ней была приставлена немецкая уличная девка Пфани. Обычно после родов детей уносили в комнату этих женщин, где детский крик обрывался и до рожениц доносился плеск воды...*³³ Вот такое соседство.

В тот вечер все пили очень много. Мне постоянно подливали спиртное, и я не имела права отказаться. Немцы пьянели, громко кричали, пели и смеялись. Но веселье казалось каким-то напускным, насквозь фальшивым. Все они заметно нервничали. Сверху поступил приказ больше не использовать газовые камеры. Один из крематориев начали перестраивать в бомбоубежище. Некоторые мужчины, работавшие за пределами лагеря, рассказывали, что все подходы к Аушвицу минируют. Самих заключённых готовили к срочной переброске в другое место. Часть из них отправлялась в Берген-Бельзен, часть – куда-то ещё. Здесь планировалось оставить только самых немощных, в основном стариков и детей. Если об этом знала я, сидящие со мной за одним столом люди знали о том гораздо больше.

Я пила и пьянела. И в голове у меня всё время прокручивалась одна и та же дата – 27 января 1945-го. Я уже чувствовала, как свобода дышит мне в лицо. Я должна была остаться здесь под любым предлогом. Подозреваю, это было обязательным условием моего освобождения.

Пока немцы провозглашали тосты «за победу», «за Гитлера» и «за Германию», я потешалась, рассматривая их красные, лоснящиеся физиономии, ощущая их страх, так как никакая бравада не могла ввести меня в заблуждение. Конец Третьего Рейха был близок, и собравшиеся понимали это. Я смеялась. Я была настолько пьяна и счастлива, что не стеснялась выказывать своё веселье в их обществе. Ничего не соображала. А уж потом сделала совершенно глупую вещь – нечто такое, что могло стоить мне жизни, и только чудом я её не лишилась.

Я встала из-за стола, взобралась на стул и запела, перекрикивая все их пьяные выкрики, весь этот шум бьющегося стекла, из которого я с трудом вычленила знакомые мне слова и переводила их на французский. Наверное, я окончательно потеряла голову. Мне казалось, я снова стою на сцене ночного кафешантана, и на меня смотрит весь зал. Честное слово, это было недалеко от правды. Потому что, когда я запела, все умолкли и уставились на меня в немом изумлении. Совершенно потрясённые, не ожидавшие ничего подобного, словно в съестных припасах обнаружили крысу.

Эта старая песня, написанная ещё в восемнадцатом веке, оказалась близка мне, как никогда раньше.

Tremblez, tyrans et vous perfides
L'opprobre de tous les partis,
Tremblez! vos projets parricides
Vont enfin recevoir leurs prix! (bis)
Tout est soldat pour vous combattre,
S'ils tombent, nos jeunes héros,

³³ Из воспоминаний Станиславы Лещинской, бывшей заключённой Освенцима.

La terre en produit de nouveaux,
Contre vous tout prêts à se battre!³⁴

Я орала во всю глотку, не помня себя от возбуждения:
Aux armes, citoyens,
Formez vos bataillons,
Marchons, marchons!
Qu'un sang impur
Abreuve nos sillons!³⁵

Глаза мои были закрыты. В какой-то момент я подумала, что вот-вот прозвучит выстрел, но меня было не остановить. Весь страх, весь каждодневный ужас последних месяцев выплёскивался из моей глотки в их пьяные рожи плевками презрения к смерти и унижению.

Наверное, это был нервный срыв или... как там сейчас говорят?... изменение гормонального фона у беременных, накопление негативных эмоций... Смешно до нелепости. Негативные эмоции! Это я о том, что, слава Богу, в современном мире никто даже не может представить себе того ада, через который мне пришлось пройти. Плохо, что они нашли выход именно тогда, когда я была так близка к спасению. Но вам, мадам Леду, хорошо известно, как тяжело беременной женщине управлять своими порывами, особенно если они идут из самого сердца. Именно поэтому я продолжала петь, не способная остановиться даже тогда, когда в комнате залегла такая тишина, что было слышно, как нервно сглатывают эти немецкие ублюдки. Весьма возможно – лично я в этом несколько не сомневаюсь – они приняли моё пение за дурную примету.

Кто-то выхватил пистолет. Я услышала, как взводят курок, но прежде, чем прогремел выстрел, чья-то сильная рука схватила меня за волосы и сдёрнула со стула. Я упала на бок, прикрывая руками живот, потому что вдруг решила, что первый удар последует именно туда.

Это был Геск. За волосы он выволок меня из помещения, которое находилось на первом этаже кирпичного дома, протянул через весь двор, потом вниз в какой-то подвал, где невыносимо воняло гнилой капустой и, наконец, отпустил. Моя голова гулко ударилась о земляной пол. Ушибленное бедро болело, а рёбрами я пересчитала все ступеньки.

Геск запер дверь изнутри, и я скрючилась, понимая, что за этим последует. Он был чертовски зол, он был готов разорвать меня на части. Думаю, ему хотелось меня убить, но он, вероятно, колебался, не понимая, чему следует отдать предпочтение: сиюминутной прихоти или долговременному вложению в продолжение рода, которое он сделал задолго до этой дерзкой и бессмысленной выходки. Он должен был решить это немедленно.

Я вспомнила о болтающемся в петле обручке, которым раньше была Фриде. Об Ирме Грезе, находящей особенное удовольствие в том, чтобы отрезать женские груди, и о всех остальных извращённых душах, сконцентрированных в этой цитадели зла. И вдруг поняла: кто-то должен был зачитать им приговор, пока все они ещё находятся тут, пока

³⁴ Дрожи, тиран! И ты, предатель,
Переползавший рубежи,
Ты, подлых замыслов создатель,
Перед расплатою дрожи!
Любой из нас героем будет.
А если первые падут,
Французы смену им найдут,
Их голос родины разбудит. («Марсельеза». Перевод: П. Г. Антокольского.)

³⁵ К оружию, граждане!
Ровняй военный строй!
Вперед, вперед,
чтоб вражья кровь
была в земле сырой. («Марсельеза». Перевод: П. Г. Антокольского.)

не разберлись, чтобы каждый по отдельности мог встретить свою судьбу. И эта честь выпала мне.

Конечно, я знала, чего мне это будет стоить. Я не готова была платить, но, увы, ничего другого не оставалось. Потому я покорно уткнулась острым подбородком в грудь и стала ждать своего смертного часа, стараясь не думать о том, какую именно кару для меня выберут.

Бесконечная усталость от слишком долгого ожидания... Оно рождает апатию, полное невосприятие действительности, отравляет всё, чем жил человек до сих пор. Почти всё. Я молча прощалась со своим ребёнком. Молчание часто было единственным языком, на котором общались матери со своими детьми, прежде чем сгинуть в этих застенках. Знаете, *среди многих пережитых там трагедий особенно живо запомнилась мне история женщины из Вильно, отправленной в Аушвиц за помощь партизанам. Сразу после того, как она родила ребенка, кто-то из охраны выкрикнул ее номер... Я поняла, что ее вызывают в крематорий. Она завернула ребенка в грязную бумагу и прижала к груди... Ее губы беззвучно шевелились, — видимо, она хотела спеть малышу песенку, как это иногда делали матери, напевая своим младенцам колыбельные, чтобы утешить их в мучительный холод и голод и смягчить их горькую долю. Но у этой женщины не было сил... она не могла издать ни звука, — только большие слезы текли из-под век, стекали по ее необыкновенно бледным щекам, падая на головку маленького приговоренного. Что было более трагичным, трудно сказать — переживание смерти младенца, гибнущего на глазах матери, или смерть матери, в сознании которой остается ее живой ребенок, брошенный на произвол судьбы*³⁶.

Жалея других, я старалась истратить на них весь запас жалости, чтобы на себя ничего не осталось. И без того было горько...

Попрощавшись, я скрючилась, сжалась в комок и приготовилась умереть. Моё тело было напряжено, глаза зажмурены, а в ушах гудело. Я не слышала, как подошёл Геск, как он вытянулся рядом со мной на полу. Я открыла глаза только тогда, когда он уткнулся мне носом в затылок, и я услышала его сдавленные рыдания. Это были слёзы совершенно отчаявшегося человека. Он плакал, приобняв одной рукой мой живот и плотно прижавшись к спине. Его тело содрогалось от болезненных спазмов, и поверьте мне, это была уже совсем другая музыка...

Такое не забывается, мадам Леду. Сколько же чувств я испытала в тот момент: облегчение, злость, надежду, отвращение, даже жалость. Все, наверное, кроме любви. Любовь не могла существовать в этом месте. Потому что любовь это Бог, так мне говорили. А какой милосердный Бог мог допустить сам факт существования Аушвица и подобных ему лагерей смерти? Здесь правили языческие идолы – олицетворение самых низменных человеческих страстей: похоти, жестокости, безграничной вседозволенности, требующие постоянных жертвоприношений. Кровь невинных лилась рекой.

*...В конце войны нас очень бомбила союзная авиация. Но это было единственное развлечение: завывает сирена, а я радуюсь: «алярм!»... Такие вот радости у меня были.*³⁷ Поверите вы мне или нет, но я уже ничего не боялась. Случалось, я выбегала на улицу в одной сорочке и, подняв руки, кружилась под мокрым снегом. Все, кто меня видел, принимали за безумную. Но никогда ещё я не была в таком трезвом уме. Всё предсказанное Фриде сбывалось с неумолимой точностью, всё шло к развязке, а посему – и к концу этой долгой и страшной войны.

В середине января объявили всеобщую эвакуацию. В наше время это слово ассоциируется с какими-то действиями, направленными на спасение людей, но тогда оно подразумевало под собою совсем другое. 18 января из Аушвица вышла колонна заключённых под охраной эсэсовцев численностью около 60 000 человек, которым предстояло пройти пешком пятьдесят шесть километров до небольшого по современным

³⁶ Из воспоминаний Станиславы Лещинской, бывшей заключённой Освенцима.

³⁷ Из воспоминаний Ларисы Ландау, бывшей заключённой Освенцима.

меркам польского города Водzisлава-Слѣнского, где их рассадили бы в поезда и переправили вглубь Австрии и Германии, в лагеря Дахау, Бухенвальд, Гросс-Розен, Маутхаузен и другие. Легко сказать - пройти! Зимой, практически без обуви, с ногами, перемотанными тряпками! Эти истощѣнные люди еле волочили ноги, а отстающих пристреливали, оставляя вот такой вот после себя след – след из трупов. Пятнадцать тысяч человек. В бараках остались только больные, которых не успели прикончить, старики и дети. Почти все охранники покинули лагерь, так как охранять стало некого. Многие давно не могли подняться с нар. Кто-то был уже мѣртв, кто-то – в голодном обмороке, какие случались сплошь и рядом. Но даже те, кто ещё оставался жив, были неотличимы от мѣртвых.

В ночь на 25 января мы слышали первые пулемѣтные очереди. Это могло означать только одно: советские войска пошли в наступление. Вокруг лагеря находились минные поля, и я знала, что на то, чтобы пробиться в Аушвиц потребуется некоторое время. Два дня. Я давала им два дня – ровно столько, сколько оставалось до заветной даты.

Порядка в лагере давно не было. Там царил полнейший хаос. С 26 на 27 января я не спала всю ночь. Заключѣнные выходили из своих бараков, что раньше категорически запрещалось, и выстраивались у ограждения. Все, кто ещё мог передвигаться. Они кого-то там видели – с той стороны колючей проволоки, кричали им и махали руками. Другие сидели, прислонившись к стенам бараков – это всё, на что у них хватало сил.

К тому времени здесь *оставалось до 100 немцев, по преимуществу... уголовники*³⁸. Геск оказался одним из немногих офицеров СС, не покинувших свой пост. Но, надо сказать, никто из бывших надсмотрщиков или охранников больше не выказывал сопротивления. Они расхаживали туда-сюда, всё время озираясь, словно только теперь глаза их открылись, и они поняли, где оказались – посредине брошенного лагеря смерти. Было ли это прозрение, я не знаю. Все они выглядели до крайности растерянными. Больше никто не стрелял.

В три часа пополудни советские солдаты сломали ворота и вошли непосредственно на территорию Аушвица. Их встретили громкими криками настоящего ликования, объѣтыми и поцелуями. Большинство заключѣнных хорошо понимали, что наконец настал день их освобождения. Но некоторые всё ещё прятались по углам бараков, в сортирах, в холодных печах крематориев, не уверенные, что пришедшие несут им благо. Такие корчились, когда к ним обращались, закрывали лица руками и кричали: «Я не еврей!». Очевидно, это было связано с тем, что раньше в Аушвиц *посылали разных функционеров партии и СС, чтобы они сами увидели, как уничтожают евреев. Все при этом получали глубокие впечатления. Некоторые из тех, кто прежде разлагольствовали о необходимости такого уничтожения, при виде «окончательного решения еврейского вопроса» теряли дар речи*³⁹. Тех и этих путали, и по привычке боялись всех.

Солдаты обходили постройку за постройкой, ужасаясь тому, что стало для нас таким привычным: огромным тюкам с детскими локонами, предназначенным для того, чтобы ими набивали подушки; расфасованному в мешки пеплу, подготовленному для удобрения полей, множеству покрытых толстым колючим инеем тел, не сожжѣнных и просто сваленных в бараках, сотням коробок с детской одеждой и десяткам таких же, наполненных золотыми зубными коронками, и многому, многому другому, о чём я не хочу даже упоминать.

Помню, я стояла, опѣршись о дверной косяк, закутанная в старое одеяло, которое уж не помню, где мне удалось раздобыть, и улыбалась. Меня распирало от счастья. Это ни на что не было похоже. Не то, чтобы оно рождалось где-то внутри и грозило выплеснуться наружу, а скорее я заражалась им откуда-то извне. Вокруг меня ходили счастливые люди.

³⁸ Из докладной записки начальнику политуправления 1-го Украинского фронта.

³⁹ Из показаний коменданта Освенцима Рудольфа Гесса.

Чуть живые, но счастливые. Это они распространяли невидимые флюиды, которые я впитывала бледной кожей, давно не видевшей тёплых солнечных лучей. Из-под налившейся груди торчал живот какой-то странной, угловатой формы. Сейчас таких ни у одной мамы не увидишь, но тогда и там можно было насмотреться на что угодно. Особые условия, сами понимаете...

Неподалёку валялось несколько трупов капо – скорее всего, их забили камнями сами заключённые. Надсмотрщиков теперь избивали повсеместно, этому никто не препятствовал. Здесь сводили счёты и платили по счетам. Я стояла босиком – после той памятной пирушки у меня больше не было ни тёплых чулок, ни туфель, ни шерстяного платья. Меня снова переодели в арестантскую робу и выдали колодки, при этом оставив в лагерном лазарете под присмотром медсестёр. Можно сказать, я лишилась части привилегий, – рассмеялась старуха. – Им просто нужен был ребёнок, и они ждали, когда он родится, чтобы передать его отцу. Мои удобства, как и моя жизнь, не имели значения. Мне несказанно повезло, что он не родился раньше срока, иначе наши судьбы сложились бы куда более печально...

– А что же случилось с Гюнтером Геском? – спросила мадам Леду.

– Ах, с Геском..., – повторила мадам Гальен, и будто тут же забыв о вопросе, продолжала: – Я увидела двух советских солдат примерно в двадцати метрах и, не знаю, почему, ноги сами понесли меня им навстречу. Я была словно в тумане – всё вокруг видела каким-то размытым, словно кто-то нацепил мне на нос чужие очки. По дороге я с кем-то столкнулась, пролепетала извинения и хотела идти дальше, но тут меня крепко взяли за плечи и немного потряхнули. От такой бесцеремонности я понемногу пришла в себя.

– Это ты? Думала, тебя давно прикончили. Я собственными глазами видела, как тебя волокли через весь двор. А ты, выходит, живучая! – какая-то женщина громко рассмеялась и неуклюже приобняла меня за плечи. – Как тебе удалось выжить? Какой у тебя срок? Ребёнок уже опустился? Хотя нет, потом расскажешь...

Я нехотя, как спросонья, повернула голову. Это была та самая женщина-врач, которую приводила ко мне Фриде. Польшка по имени Зуза. За то время, что я её не видела, она исхудала ещё больше. Разве что волосы отросли – редкие и тусклые, непонятно какого цвета.

– Сейчас откроют детский барак, – затараторила она. – Будут раздавать хлеб. Нужно проследить, чтобы дети ничего не ели. Пусть пьют. Я наколочу им воды с сахаром, а ты поможешь разнести кружки и дать каждому в руки. По сравнению со многими другими, ты неплохо держишься на ногах...

И она потянула меня в совершенно противоположную сторону.

Я увидела детей... Жуткая картина: вздутые от голода животы, блуждающие глаза; руки как плети, тоненькие ножки; голова огромная, а все остальное как бы не человеческое — как будто пришито... Слез у этих людей не было. Я видела, как они пытаются утереть глаза, а глаза оставались сухими⁴⁰. И тут меня будто током ударило – сердце бешено заколотилось, а по щекам потекли слёзы. Я обнимала их всех подряд, прижимала к себе, ерошила волосы и целовала.

– Что ты делаешь?! – одёрнула меня Зуза. – Многие из них не помнят своих матерей. Не ровен час, они решат, что ты и есть их мать. Так ты их только расстроишь!

Раньше мне и в голову не могло прийти, что любое проявление нежности и ласки при определённых обстоятельствах может сломать психику, даже убить. Точно так же было и с едой. Бывшим узникам раздавали хлеб и консервы, на которые они набрасывались с жадностью, а наевшись, умирали от заворота кишок. Даже те, кто пили пустой бульон,

⁴⁰ Из мемуаров «До и после Освенцима» Василия Петренко, командующего 226-й стрелковой дивизией.

часто не выживали. Поэтому Зуза кипятила воду в больших чанах, сыпала туда сахар, а я разносила это сладкое пойло детям. Она говорила, что вреда от него меньше всего.

На протяжении нескольких последующих дней бараки стремительно превращались в госпитали, разбирались горы документов даже несмотря на то, что большую их часть уничтожили ещё в ноябре прошлого года, создавалось какое-то подобие порядка и местных органов власти. Часть помещений отвели под тюрьму для военнопленных. Вы спрашивали меня про Геска? Возможно, он добровольно сдался и был в одном из них. Я давно его не видела. Видите ли, в последние месяцы я вела очень уединённый образ жизни. Он редко меня посещал, а говорил и того меньше. Не знаю, жалел ли он о той минутной слабости, но я была более чем уверена, что он по-прежнему хотел моего ребёнка. Возможно, он всё ещё мечтал скрыться? Каким-то образом перейти границу с младенцем на руках? Этого я так и не узнала. Однако его поведение более чем доказывало, что этот человек одержим фанатичной убеждёностью в том, что *все человеческие порывы должны подавляться и уступать место железной решимости, с которой следует выполнять приказы фюрера*⁴¹. И если позже такие, как он, утверждали обратное, то они лгали относительно своих настроений и переживаний, того сочувствия, которое они якобы питали к уничтожаемым ими людям.

Утром 30 января 1945 года у меня начались схватки, а под вечер я родила слабенького мальчика с совершенно синей кожей. «Вот так крепыш!» – пошутила Зуза. Но по её выражению лица я тут же поняла, что она сомневается, доживёт ли он до утра.

– Как ты его назовёшь? – спросила она.

– Леон, – сказала я первое, что пришло мне в голову. – Пусть растёт сильным и смелым, как лев.

– Если у этой дохлой кошки – его матери – хватит молока его выкормить, – улыбнулась Зуза.

Я испугалась.

– А что делать, если не хватит?

– В округе полно ферм. Думаю, нам удастся раздобыть коровье молоко. Не искать же ему подходящую сиську *здесь*? Держи его у груди. Не давай остыть.

На следующий день меня бросило в жар, а вслед за этим появилось молоко. Оно было совсем не сытным, и ребёнок постоянно плакал, требуя есть. Эта ненасытность - немецкая жадность - помогла ему выжить.

Заключённые начали разъезжаться только через месяц. Практически ни у кого из нас не нашлось документов, и нам выписали временные. Я назвалась своим настоящим именем – Рене Гальен – и его вписали по всей форме. Кто-то отправлялся домой в товарняках, кто-то с автомобилями Красного Креста, кто-то на запряжённых лошадьми телегах, а кто-то пешком. Зуза была из Кракова. Туда же она и вернулась. Только гораздо позже меня – помогала выхаживать больных и раненых. Её помощь оказалась неоценима. А с меня-то что взять?

За несколько дней перед отъездом во Францию я вышла прогуляться. Леон спал у меня на руках – это было настоящее чудо. Обыкновенно он был очень беспокойным ребёнком. На плацу, где когда-то устраивали переключку, соорудили длинный помост, а на нём виселицу. Там казнили немцев. Им надевали на шею верёвку, а на голову – обыкновенный мешок, командовали «Два шага вперёд!», и они сваливались с края помоста. Вот и вся нехитрая процедура. Их тела не оставляли болтаться в петле, а складывали тут же в ряд.

Я задрала голову вверх и увидела среди приговорённых Геска. Я смотрела на него, а он – на свёрток в моих руках. У него было лицо мертвеца – бескровное и худое, почерневшее от постоянного нервного напряжения. Его светлые, будто выгоревшие от света пожаров волосы, тербил ветер, а глаза были того же цвета, что и зимнее небо у нас

⁴¹ Из показаний коменданта Освенцима Рудольфа Гесса.

над головой. Но в них читался какой-то внезапный всплеск гордости и безумного веселья, какие неуместные в его положении смертника. Он улыбался.

Приподняв ребёнка и переложив его на одну руку, другой я приоткрыла крохотное личико, чтобы оно было хорошо видно осуждённому. Затем высвободила из тряпок головку...

Я видела, как опустились его плечи. Знала, что это значит – бессилие души, будто ей пустили кровь, и та прозрачными струйками вся вытекла на помост. Лицо Геска сделалось страшным: как если бы я на его глазах убила всю его семью. Его мать, отца, жену и так и не родившихся детей, а дом сожгла дотла.

Мой сын родился смуглым с пышной копной тёмных волос на голове – совсем не похожий на типичного представителя арийской расы. Внешне он гораздо больше походил на моего отца – своего деда, в то время как денационализации подвергали только тех детей, в облике которых без особого труда угадывались арийские черты – светловолосых и голубоглазых! – старуха рассмеялась. – Сама природа мстила Гюнтеру Геску за то надругательство, которое он над нею учинил. Сейчас мы знаем несравненно больше о законах наследственности, но тогда в Аушвице царил единственный закон – избранности отдельно взятого народа, которая имела длинный перечень признаков, в том числе и внешних. Но так уж получилось, что мы, французы, не умеем соответствовать немецким стандартам.

Я подумала, что было бы с моим крошкой, родился он неделей или двумя раньше? С большой степенью вероятности могу утверждать, что он был бы умерщвлен одним из тех жестоких способов, какие любили практиковать в Аушвице.

Что я ещё могу сказать? Только то, что убила Гюнтера Геска ещё до того, как петля затянулась на его шее. Отравила его мгновенным ядом. Растворила все его внутренности и высосала через пучок полой соломы. Он всё ещё стоял передо мною, совершенно мёртвый, как заключённые, которых набивали в газовые камеры сверх положенного количества, так что после смерти тела продолжали оставаться в стоячем положении, пока какое-нибудь не вытаскивали через дверь, руша строй.

Вот что он видел, перед тем, как ему на голову натянули мешок и приказали сделать два шага вперёд...

Когда я вернулась домой во Францию, уже несколько месяцев как страна была освобождена. Никто не хотел слышать или говорить о депортациях, о том, что мы видели и пережили. Что касается тех евреев, которые не подвергались депортации, т.е. трех четвертей евреев, живших в то время во Франции, то большинству из них было невыносимо слушать нас. Другие же предпочитали вообще ничего не знать. Действительно, мы даже не подозревали, насколько жутко звучали наши рассказы. Поэтому приходилось говорить о лагерях между собой, т.е. теми из нас, кто был депортирован. Даже сегодня эти воспоминания постоянно подпитывают наш дух и, я бы даже сказала, наши беседы, потому что, как ни странно, когда мы говорим о лагерях, нам приходится смеяться, чтобы не расплакаться⁴². Моё личное положение усугублялось ещё и тем, что я вернулась не одна, а с ребёнком. К женщинам, прижившим детей от немецких солдат, было особое отношение. В одно мгновение ока они становились «врагами народа». Их обвиняли в аморальном поведении, сотрудничестве с нацистами, межнациональной проституции. «Горизонтальный коллаборационизм» – так они это называли. Таких женщин раздевали донага, брили им головы, расписывали свастиками и водили по улицам Парижа. На них плевали, обливали нечистотами. Мужчины призывно улюлюкали и демонстрировали им свои половые органы. Те самые мужчины, которые в своё время объявили Париж «открытым городом» и сдали его оккупантам, вместо того, чтобы воевать за нашу свободу! Если говорить о градусе монструозности того, что я пережила в Аушвице, и того, что творилось в освобождённой

⁴² Из воспоминаний Симоны Вайль.

Франции, конечно же, здесь он был на порядок ниже. Но это ни в коем случае не умаляло того отвращения и горечи, какие я ощущала от того, что меня предала моя же страна...

Когда под окнами моего дома проводили заключенных – таких же, как и я, вынужденных коллаборационисток, мне казалось, что я схожу с ума, так как я не могла допустить и мысли о том, что мои соотечественники, а вместе с ними и весь мир, лишились здравого смысла. В других странах дела обстояли не лучше – например, в соседствующей с нами Бельгии. Да и в Норвегии тоже, где за подобные преступления против собственной страны и народа женщин приговаривали к полутора годам принудительных работ, а рождённых ими пять тысяч детей, чьи отцы предположительно были солдатами вермахта, объявили умственно отсталыми и уперли в психушки.

Весь мир охватило безумие! Желание восстановить справедливость, избавиться от немецких генов, граничило с религиозным фанатизмом. Фриде об этом никогда не упоминала. Никогда не говорила о том, что будет, когда мы вернёмся. Но мир, который она описывала, предполагал, что когда-нибудь это сумасшествие закончится.

Меня могла защитить только банальная ложь. Конечно же, я не стала никому говорить, кто был отцом моего ребёнка. Чтобы пресечь лишние вопросы, я начинала плакать каждый раз, когда меня об этом спрашивали, и только спустя несколько месяцев вскользь упомянула о том, что его отцом являлся другой заключённый. Я вернулась другим человеком – это видели все: родные, знакомые, просто соседи. Все, кто меня знал до войны и видел после, сразу же замечали разницу. Закрытая, возможно, чуть повредившаяся в уме, никогда не расстающаяся со своим ребёнком, не спускающая с него глаз, словно в любой момент его могли отобрать. Каково им было копаться у меня внутри, когда их никто туда не пускал? Никаких историй о трагической любви. Вообще никаких слов, которые могли бы заронить зерно подозрения.

Нам сочувствовали, нас жалели, со всех сторон окружали вниманием и заботой. Я поклялась себе, что если смогла пережить Аушвиц, то сумею выжить и здесь, где у меня столько поддержки. Пережить эту безумную волну борьбы с коллаборационизмом. Слава Богу, французы не злопамятны, – горько улыбнулась мадам Гальен, – и это продлилось недолго. Через год-полтора их азарт иссяк, и они перестали рассматривать наши грязные простыни через призму «расового позора».

Мне было двадцать. Леон стал смыслом моей жизни. И меньше всего на свете я боялась дурной наследственности. Видит Бог, я рада, что его жизнь сложилась лучшим образом, и молюсь о том, чтобы его потомкам не пришлось пережить ничего из того, что пережила я сама.

Говорят, Природа не знает повторений, только циклические процессы. Что же касается меня, то я выскажу собственное мнение по этому поводу. Если в каком-то месте сконцентрировано слишком много зла, боли, горя и слёз, то та же самая Природа никому из нас не даст забыть этот жестокий урок. Она будет вколачивать его с кровью тем или иным способом, пока мы его ни усвоим. Единственное, на что нам остаётся надеяться, так это на то, что мы окажемся достаточно понятливыми, чтобы воспринять его с первого раза и воспрепятствовать повторению трагедии. Если же нет, то то, что пока растворено в воздухе, однажды снова приобретёт материальную форму посредством человеческих поступков. Никогда не стоит забывать о том, что каждый день, наступая на землю, мы топчем чей-то прах и чьи-то кости.

Мадам Леду, – сложив руки на коленях, произнесла старуха, – я не оставляю мысли, что сегодня донесла до вас нечто очень и очень важное, так как вся эта история в равной степени касается всех находящихся в этой комнате – и меня, и вас, и Софи, и даже тех, кто не дожил до сегодняшнего дня. Теперь, уверена, у вас будет, над чем поразмыслить, и меньше всего мне хотелось бы этому мешать... – с этими словами мадам Гальен поднялась на ноги.

Мадам Леду встала с дивана. Все движения её казались механическими, как у заводной игрушки. Она сама подивилась тому, какими неестественно скованными они были.

– Пойдите, мадам Гальен, – обратилась она к старухе. – У меня к вам ещё много вопросов...

– Настоящие вопросы у вас созреют гораздо позже. К тому времени, думаю, я уже буду во Франции, – сообщила она, направляясь к выходу. Подхватив сумку и прощаясь на ходу, Софи последовала за ней. – Напишите мне, когда сочтёте это возможным. А лучше, приезжайте в гости. У вас есть мой адрес, и я всегда буду рада вас видеть.

Открыв входную дверь, девяностодвухлетняя старуха остановилась. Мадам Леду следовала за ней по пятам. Взяв руки молодой женщины в свои, мадам Гальен крепко сжала их на прощанье:

– Уверена, мои слова были для вас так же убедительны, как и ваши собственные переживания. Но это не значит, что когда дверь за моей спиной захлопнется, вы не продолжите искать доказательства. До встречи, мадам Леду. До нашей следующей встречи. К счастью, нет ни малейших предпосылок к тому, что она будет неприятной. Надеюсь, вы сохраните мой подарок? Полагаю, он представляет для вас даже большую ценность, чем для меня самой...

Повернувшись, мадам Гальен стала медленно спускаться вниз по лестнице, бережно поддерживаемая под локоть Софи.

– Жаль, нет лифта...

...Поражённая, мадам Леду так и осталась стоять в дверном проёме до тех пор, пока на лестничном пролёте окончательно не смолкли их осторожные шаги. Разжав кулак, она взглянула на открытую ладонь. В электрическом свете тускло поблёскивала старая английская булава.